

ЛЕОНИД ПОТОРАК

СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНИЯ

КНИГА ПЕРВАЯ



Леонид Михайлович Поторак

Странные сближения.

Книга первая

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=29178945
ISBN 9785449029737*

Аннотация

Это – исторический роман, приключенческий роман, роман-пародия, остросюжетный детектив, биография, альтернативная история, вестерн, немного поэзии... Это – не вариация на тему «что могло бы быть», но грустная и ироничная констатация: «скоро будет казаться, что так и было». Короче: это роман обо всём, кроме Пушкина. А то, что Пушкин в этой книге оказался главным действующим лицом, не имеет никакого значения.

Содержание

| | |
|---|-----|
| Прелюдия: Зюден | 6 |
| Часть первая | 10 |
| Зима 1820-го – сиятельства | 10 |
| и превосходительства – полторы головы – | |
| Россия в опасности! – явление героя | |
| Знакомство – бедный, бедный граф – план | 18 |
| операции – в дорогу! – Екатеринослав – | |
| старый знакомый | |
| Чечен задушил музу – в кабаке – купание | 31 |
| в Днепре и смертельная опасность | |
| Раевские – у доктора – Мария – тем временем | 43 |
| в Петербурге | |
| Чечен найден – отъезд – Александр | 56 |
| Раевский – град и несостоявшаяся дуэль | |
| Наблюдение за домом – взрыв и погоня – | 70 |
| Максим Максимыч и бомба – о шишках – | |
| возвращение героев | |
| Вставная глава | 82 |
| Мария – проклятая погода – трубка – | 85 |
| Феодосия и Броневский – тайна Пушкина – | |
| в Петербурге | |
| Утренний совет – прощание с Броневским – | 101 |
| снова плыть – о чём не напишут | |

Странные сближения

Книга первая

Леонид Михайлович
Поторак

...В его повести

Пушкин

Поедет во дворец

В серебристом автомобиле,

С крепостным шофером Савельичем.

Давид Самойлов

© Леонид Михайлович Поторак, 2018

ISBN 978-5-4490-2973-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Прелюдия: Зюден

*Но что?.. я цепью загремел;
Сокрылся призрак-обольститель...*

В.А.Жуковский

«А, собственно, зачем мне их убивать?» – думал он, пока тело выпадало из дверного проема наружу.

Отнять у человека жизнь – поступок не менее ответственный, чем эту жизнь подарить. Может быть и более, ведь женщина не учится вынашивать и рожать дитя, природа уже владеет этим навыком. Природе незачем прочищать ствол, отмерять порох, точить клинки, стоять ежедневно по часу со свинцовой гирькой на кончиках пальцев, сводя на нет дрожание рук, не приходится развивать реакцию и зоркость. Ко всему ещё и этические рефлексии, – думал он, придвигая к двери секретер. – А ну как есть рай? Если уж такое допустимо, то наивно полагать, что попадет туда именно тот, кто считается праведником на земле. Разве можно ожидать следования человеческой логике от явления, которое вообще никакой логике не подчиняется? Вот и выходит, что убив какого-нибудь сквернавца, ты, сам того не желая, даруешь ему покой, а сам остаешься здесь, с окровавленным лезвием в руках, а против тебя – ещё шестеро.

Но, Господи Боже, их ведь можно бы и просто хорошенько поколотить. Ночь на дворе. Лица не разглядеть.

Все-таки пришлось надеть серый плащ Харона ещё раз. Дверь, не выдержав натиска, сорвалась с петель, не упала, прижатая тяжеленным секретером, но в образовавшуюся щель просунулась рука с пистолетом. Время на маневры у Зюдена было, но сдали нервы – он метнул в щель нож, и только после того, как пистолет выпал из руки, и за дверью послышался хрип и звук падения, понял, что и в этот раз убил.

Он прижался спиной к стене, затаился. Снаружи доносились голоса, кто-то бежал к окну. Наконец-то догадались, что через дверь зайти не удастся.

Может быть, отойдут от двери вовсе? Нет, чушь. Не с дураками имеем дело.

Людей этих, окруживших его, Зюден не жалел. Правда, и ненависти не было. Довелось повидать много разной полиции, и эта была не худшей. Что орать о душителях свободы, когда на деле они – солдафоны-близнецы, понятия не имеющие ни о свободе, ни о том, что душат ее. Дай им плуг, и они бы пахали землю, но им дали мундиры и пистолеты.

Полицейские спешно придумывали план действий. Потом, судя по голосам, трое встали под окном. Ещё один, самый молодой (что-то его не слышно), вероятно, держит на прицеле дверь, а последний стоит в стороне и командует. Где ему стоять? Удобнее всего между дверью и окном,

то есть на углу. Скверно. Значит, драться с первыми тремя нельзя – с угла четвертый успеет подбежать, а биться с четырьмя крепкими парнями – это уже рискованно.

Зюден вынул из-за пояса бомбу, щёлкнул огнивом. На фитиле забился голубоватый язычок.

Три... Четыре... Пять... Вперёд!

Рукоятью пистолета Зюден вышиб стекло, кинул бомбу в дыру, упал и откатился в сторону. Когда грохот и звон стекла сменились тонким писком в ушах, Зюден вскочил, ругаясь по-турецки (нервы!) и перемахнул через подоконник. Мальчишка, стерегущий дверь, ещё не опомнился, но тот, что стоял на углу (всё-таки на углу), уже поднимал саблю. Незаряженный пистолет, брошенный с отчаянной силой, ударил жандарма рукоятью между глаз. Бегом Зюден кинулся в проулок, повернул в другой и только спустя несколько минут непрерывного петляния по городу понял, что, кажется, ушёл невредимым.

Двое из шести выжили, но не видели его лица. Внешность на всякий случай он изменит, уедет отсюда... Гадко было на душе. Хорош герой: подорвал бомбой троих живых людей. Хоть бы в бою, хоть бы застрелил...

Но грязный, с исцарапанной осколками рукой Зюден не был расположен к философствованию. Он высоко поднял ворот и двинулся прочь, в тёмный город, пахнувший конским навозом и гнилой водой.

Мы покинем его до поры и перенесёмся в Санкт-Петер-

бург, откуда, в сущности, и берет начало история, в которой нам предстоит участвовать.

Часть первая

Зима 1820-го – сиятельства и превосходительства – полторы головы – Россия в опасности! – явление героя

*Там котик усатый
По садику бродит,
А козлик рогатый
За котиком ходит.*

В.А.Жуковский

Морозно и беспокойно было в Петербурге в ту зиму. Дамоклов меч отставки уже висел над командующим Семёновского полка Потёмкиным; о необходимости сменить командующего Аракчеев уже писал государю; государь писал с укоризною (означавшей немедленную и жестокую казнь) о бунтующих на Дону крестьянах; а господин Рылеев, с приущим ему ехидством, писал об Аракчееве. Много бумаги перевели в ту зиму в Петербурге.

Перелётною птицей потянулся в тёплый Баден Александр

Христофорович Бенкендорф, которому ещё долгих шесть лет предстояло ждать своего триумфа, т.е. должности начальника третьего отделения.

Мучился ностальгией, сердечной болью за судьбу России и мигренью генерал-губернатор северной столицы Милорадович.

В день, с которого начнётся наше повествование, Бенкендорф, успевший уже наострить лыжи в Баден чрезвычайным посланником, но ещё не уехавший, стоял в кабинете его сиятельства министра иностранных дел графа Карла Нессельроде.

Нессельроде был в ту пору уже немолодым, потрёпанным государственной жизнью и полным пессимизма человеком, глядевшим на мир сквозь вечное *rince-nez*. Сорок лет, *mein Gott*, да это же глубокая старость. Бенкендорф, хотя и был всего на два года младше, оставался моложавым, подтянутым, полным энергии и готовности к карьерному росту.

Все происходящее в мире раздувало в Бенкендорфе эту его готовность.

Карл Васильевич говорил об известном, о том, что напишут в учебниках:

Россия с Сиятельной Портой были давно на ножах, и для объявления войны не хватало только повода. Османские шпионы кишели всюду, Коллегия Иностранных Дел давно уже занималась более шпионскими делами, чем иностранными.

Тут стоит отметить, что в Коллегии, возглавляемой графом Нессельроде, была ещё одна фигура, звавшаяся Иоанном Каподистрией. Каподистрия был статс-секретарём, что сильно смущало Нессельроде и прочих сотрудников Коллегии – статс-секретарь считался почти равным министру. Ситуация двуначалия была причиной нервных болезней Нессельроде и добродушных насмешек Каподистрии, который, в общем-то, наслаждался происходящим и на большее не претендовал.

Одна голова хорошо, а до второй, в полном смысле этого слова, Каподистрия не дотягивал; к тому же император его не любил, а любил Карла Васильевича. Полторы головы управляли Коллегией Иностранных Дел и тратили силы на поиски турецких агентов, а заодно на препирательства друг с другом. Препирательства, подобно шахматам по переписке, происходили опосредованно. Самыми осведомлёнными о личных качествах, роли в обществе и *renommée*¹ их превосходительств оказывались адъютанты и прочие, кому приходилось осуществлять связь между Нессельроде и Каподистрией. Однако, мы отошли от темы.

Приводить рассказ Нессельроде дословно не будем, потому что история его не сохранила, а соврать успеется; сводился он вкратце к тому, что османскую агентурную сеть возглавил новый шпион, известный под кличкой Зюден – с немецкого: «Юг». Зюден благополучно отправил на тот свет луч-

¹ Репутация (фр.)

шего из тайных сотрудников Коллегии – Владимира Гуровского, перебил (в одиночку!) отряд полицейских и скрылся где-то в Екатеринославе. Это был первый и пока что последний раз, когда Зюден встретился со своими преследователями. Что он успел сделать и узнать с тех пор – Бог весть, потому что после отчётов покойного Гуровского о Зюдене не удалось узнать ничего.

– А что Константинополь? – спросил Бенкендорф, имея в виду русское посольство.

– Что они могут сообщить? От нас вестей ждут...

Вскрытый пакет лежал на столе его превосходительства, излучая опасность для страны.

Следующий час ушёл на то, чтобы оценить степень опасности. Выходило отвратительно; Зюден был, безусловно, мастером своего дела, гением конспирации, и, как выяснилось, отличным бойцом.

Согревало душу только наличие информации о предполагаемом пути шпиона – тот должен был объявиться в конце августа на Тамани, а оттуда, возможно, переместиться к Днестру. Откуда информация? Задержан турецкий агент, мелкая сошка без особых контактов, но при нём был шифр, самому агенту неизвестный. Разбирали долго и разобрали: «Кавказ далее август Тамань ... (непонятно) ... Днестр юж. ... (непонятно) связь Зюден». Он этот шифр получил от другого агента и должен был передать третьему. Шпиона отпустили, якобы ничего не найдя, и приставили к нему сыщи-

ков, но на связь никто не вышел.

Все, что было известно о другом шпионе, передавшем шифр, – тот прибыл из Екатеринослава. Найти его самого не смогли: исчез. Тот факт, что зашифрованное письмо было перехвачено, держали, по настоянию Нессельроде, в секрете, чтобы Зюден, дойдя до него информация, не изменил маршрут. Пустили даже слух, что человека с неким шифром пытались поймать, но он сбежал. Хозяин дома, где агент снимал комнату, отставной полковник с густой бородой и повязкой на глазу, сказал, что к нему никто не заходил. По роковой случайности один из жандармов, пришедших в дом, споткнулся на пороге и, падая, машинально попытался схватить старика за руку, но, не желая того, дернул за бороду. Борода осталась в руке жандарма, а полковник тотчас сорвал повязку, выхватил откуда-то нож и всадил бедняге в печень, после чего и произошло то трагическое Екатеринославское побоище.

– Я мог бы найти троих-четверых агентов, кто последовал бы за Зюденом на Кавказ, – осторожно предложил Бенкендорф. – В конце концов, не так уж это трудно. Отправим их под видом ссыльных военных, допустим, за какие-нибудь нежелательные дуэли...

Нессельроде кивнул и нервным движением, – дёрнув не то глазами, не то щеками, – поправил пенсне.

– Пусть так. Но Днестр? Если речь о реке, а не о чьём-нибудь прозвище, то это ведь Подолье и Бессарабия. Кого

вы отправите туда? У нас с вами, Александр Христофорович, людей не хватит. А о том, чтобы ваши военные с Кавказа вдруг повернули в Малороссию... об этом вовсе говорить смешно. На юг посылают людей никчёмных...

Никчёмных в ведомстве Бенкендорфа хватало.

– Ссылный чиновник? Да за что же его ссылать?..

Мысленно Бенкендорф перебрал список поводов для ссылки и вдруг понял, что, пожалуй, есть за что ссылать.

– Француз, – сказал Бенкендорф, восхищенно глядя, как показалось Карлу Васильевичу, на чернильный прибор.

– Как вы сказали? – Нессельроде поднял голову, проследил за взглядом Бенкендорфа и с остервенением вонзил в чернильницу перо, едва не сломав его. – Какой ещё француз?

Бенкендорф разъяснил:

– Есть в Коллегии один сотрудник, прозван Французом. Официально он переводчик.

Нессельроде поднял бровь.

– Что же этот Француз? Хороший сыщик?

– Как же-с! – воскликнул Бенкендорф, все более воодушевляясь. – У него какое-то сверхъестественное чутьё на неприятности. Фехтовальщик получше нас с вами...

Тут Нессельроде понял, о ком идет речь.

– Так вы об этом... – палец выписал в воздухе завиток, точно провел по невидимому локону. – Кому вы это рассказываете, Александр Христофорович! Он же мальчишка!

– Потому не вызовет подозрений, – мягко ввернул Бенкендорф.

– Он же только и умеет, что находить себе дружков среди бунтарей и пьяниц! – гремел Нессельроде.

– Мастер вербовки, – поправил Бенкендорф, и ужаснулся. «а кого я, в самом деле, ему предлагаю?»

– Он же вечно себе на уме!

Но Бенкендорф был уже одной ногою в Бадене, и бояться ему было нечего.

– Инициативен, – сказал Александр Христофорович.

Его превосходительство выдохся и принялся шарить глазами по столу в поисках новых аргументов. Француз уже два года служил под начальством графа и успел зарекомендовать себя как восхитительный переводчик, талантливый разведчик и абсолютно беспутный, развращенный светской жизнью, ветреный, неусидчивый *et cetera* – молодой человек. А над всеми мелкими недостатками Француза сияющей вершиною стояло стихосложение.

С некоторым циничным юмором Карл Васильевич заключил, что теперь Россия и впрямь в опасности.

– Ну а эти его, с позволения сказать, сочинения?! – выдвинул он последний полк навстречу неприятельской армии.

Бенкендорф наклонился к его превосходительству и, пристально глядя в глаза, произнес, словно вдавливал собственную мысль в стеклышки песне Нессельроде:

– А вот и прикрытие.

Француз явился с некоторым опозданием.

Тому были причины, числом пять: во-первых, у экипажа соскочило в дороге колесо, и его установка на место заняла немалое время; во-вторых, во время аварии у спешившего на службу переводчика обломился ноготь, и после того как колесо встало на ось, пришлось возвращаться домой и тщательно уравнивать ногти в длине; в третьих, возле дома Француза поджидал муж прелестной госпожи Вышневятской, отчего-то утративший душевное равновесие; в четвертых, все тот же муж не успокоился после первого объяснения и последовал за Французом, настигнув его вторично у самых ступенек, ведущих к месту службы; и в пятых, наконец, следовало признать, что от самой госпожи Вышневятской чиновник вышел, хотя и утром, но значительно позже допустимого.

Тем эффектнее было явление Француза пред ясны очи Карла Васильевича.

И наше знакомство с героем начинается со слов адъютанта, объявившего во всеуслышание... Впрочем, объявить он мог и посolidнее. Например, сказать: «коллежский секретарь... такой-то», или на худой конец просто назвать по имени. Но адъютант отворил дверь и сказал:

– Ваше Сиятельство... Пушкина привели-с.

Так приходит на страницы нашей повести коллежский секретарь Александр Пушкин.

Знакомство – бедный, бедный граф – план операции – в дорогу! – Екатеринослав – старый знакомый

Едва заставу Петрограда

Певец унылый миновал...

К. Рылеев

В двадцатый год нового столетия Александру Пушкину было двадцать лет. Пушкин был некрасив: носатый, низкорослый, с обезьяньими губами и темной, словно с крестьянским загаром кожей. Тем не менее, он буквально изучал обаяние. Может быть, магнетически действовали ярко-синие глаза, которые так странно смотрелись на смуглом лице, обрамлённом тёмно-русыми с рыжинкой, волосами. Или сама его манера держаться чем-то к Пушкину располагала. Только это и спасало его от тех, кому не повезло попасть к Пушкину на язык. Характер у Александра был отвратительный. Пушкин перессорился со всеми сотрудниками Коллегии, потом со всеми же помирился, пил на брудершафт, приходил с утра подтянутый и бодрый и жаловался на тяжкое похмелье. Он писал стихи, которые считалось хорошим тоном равно хвалить и ругать. На ругань автор по-детски обижался, раздувал щеки, краснел, потом брал себя в руки и отвечал столь едким выпадом, что и до дуэли было недалеко. Однако

дуэль не случалась.

Александр обладал тем редким свойством характера, которое позволяло ему оставаться всеобщим любимцем: он не имел долгой вражды. С одинаковой лёгкостью обидчивый и задиристый Пушкин прощал и просил прощения. Единственным, кстати, человеком, который без труда укладывал Пушкина в застольной беседе, был милейший князь Вяземский.

О тайной службе Александра не знал никто.

– Уберите это чудо, – ровным голосом попросил Карл Васильевич, осуществляя какую-то изощренную пытку над пером (уже вторым; первое убито выглядывало из чернильницы).

– Доверьтесь мне, господин министр, Карл Васильевич, – спешно заговорил Бенкендорф, едва пожелание господина министра было исполнено. – Это бесценный agent secret!² Ну легкомыслен, по молодости-то...

«А почему бы и нет, – устало подумал Нессельроде. – Я и сам в его годы...»

Уже в следующую секунду внутренняя борьба министра и любвеобильного повесы закончилась, причём трагически для последнего – повеса был признан уже лет восемнадцать как покойником. Министр же воздал ему дань словами, обращёнными к Бенкендорфу (и большей чести собственной отнюдь не трезвой и целомудренной юности он оказать

² Секретный агент (фр.)

не мог):

– Только потому, что давно вас знаю, я согласен. Но вам-то хорошо, вы со дня на день в Пруссию. А мы тут, чувствую, ещё намучаемся с вашим протее.

Почему Нессельроде согласился, он сам пытался объяснить себе и, разумеется, только себе, и только по большому секрету. Объяснял тем, что в сорокалетнем министре воскрес на мгновение давно почивший пушкиноподобный мальчик. Он себе, конечно, лгал. Чем угодно руководствовался Нессельроде, но только не романтическими порывами. Скорее всего, он вспомнил несколько удачно проведенных Пушкиным операций, взвесил ценные качества агента, например, годами выработанное умение долго не пьянеть, оценил то же обаяние и остался удовлетворен. Дурной славы у Пушкина было поровну с весьма лестными отзывами. Чем не кандидатура, в конце концов? Подумав так, его сиятельство произнес приведенные выше слова.

Графу Нессельроде ещё очень долго, почти столько же, сколько прожил он ко времени начала нашей истории, пришлось считать себя стариком, и чем дальше, тем более эти мысли были обоснованны. Sic transit³ жизнь, господа, что уж тут поделать.

Пушкин вернулся и смиренно выслушал короткую речь о том, что вы, мол, у нас порядочный бабник, Пушкин. Это

³ Так проходит (лат.) Намёк на латинскую поговорку «sic transit gloria mundi» – «так проходит мировая слава»

было правдой, Александр ее не пытался скрыть. Любовь женщины никогда, за редким исключением, не могла поставить под угрозу его честь. Быть любовником – не унизительно, это лучше, чем любить чужую жену и не пытаться показать ей, что же такое истинное счастье. Женщины мелькали вокруг Пушкина, пестрели платьями, шляпками и чепцами, плыли по петербургским мостовым на своих восхитительных ножках. Ах, Боже мой, как они были восхитительны! Да за одно своё существование они заслуживали счастья. И рождайся они все в платьях и с веерами, и пусть бы платье было их единственным покровом, своего рода кожей, уже тогда они были бы прекрасны. Но сила, создавшая их, была щедра, и женщины хранили столько чудес, что слово «прекрасно» – жалкая попытка описать блеск их таинственной, но открываемой при определенном навыке сущности.

Пушкин не считал нужным спорить с тем, что представлялось ему достоинством.

*...Если радостью сердечной
Юности горит огонь,
То не трать ни полминуты!
Скоро, старостью согнуты,
Будем тихо мы бродить!
И тогда ли нам любить?*

О, в какую тоску погрузился бы Нессельроде после этих

строк!

Но Нессельроде сказал, – и эта фраза, единственная из всего сказанного им, запомнилась Пушкину:

– Пожалуй, вас и впрямь бы стоило сослать...

Пушкин удивился. Не то, чтобы он вообще не задумывался о ссылке. В его кругах каждый хоть раз в жизни говорил нечто, поставившее бы под угрозу его свободу, будь оно сказано при иных людях. При этом открыто хвалившие власть не осуждались, напротив, к ним проникались некоторым уважением, как к выбравшим столь оригинальные и не поддающиеся обычной логике взгляды.

Но сама формулировка ввергла Александра в замешательство.

– И только благодаря протекции генерал-майора... Я согласился, – вздохнул Нессельроде. – Вы отправитесь в долгосрочную командировку.

– Excuse z-moi?⁴ – Пушкин поднял бровь.

Нессельроде собрался с мыслями. Сколь угодно мог он предаваться меланхолии, но уж что-то, а разговаривать с подчиненными Карл Васильевич умел всегда. В следующие пять минут Пушкин был проинформирован о Зюдене и его гипотетическом пути. Ещё минуты две ушло на то, чтобы агент Француз проникся важностью ситуации.

Итого семь минут потратил Нессельроде, и единственным, что приносило ему облегчение, было понимание в гла-

⁴ Прошу прощения? (фр.)

зах агента. Понимание в глазах Пушкин создавал профессионально, но для господина министра этого было довольно.

Только суть таинственных слов о ссылке оставалась неясной до последнего.

Суть прояснилась, когда поэт осмелился вякнуть о *legende*⁵.

– Прикрытие! – величественно изрёк Нессельроде. – Вы думаете, мы не озаботились этим? *Legende* для вас, Пушкин, готова: вас отправят в ссылку.

Бенкендорф увидел на лице Француза опасное выражение, означавшее, что в курчавой голове рождается нехорошая фраза. Пушкин мог все испортить, и Бенкендорф задержался бы в России, а хотелось в Германию. Поэтому Александр Христофорович по-отечески обнял Пушкина за плечи и стал трясти, приговаривая «в ссылку, естественно, это же прекрасно, в ссылку»; и нехорошая фраза забылась.

– Я не хочу в ссылку! – Пушкин ошалело болтался в цепких руках Бенкендорфа.

– Надо, – усмехнулся Бенкендорф. – Ссылный поэт подозрения навверняка не вызовет. Мы вас определим в ведомство господина Каподистрии. Сперва поедете в Екатеринослав, а там будет видно.

– Да за что же?!

– А за что вас можно сослать? – меланхолически сказал Нессельроде. – За стихи. Последней каплей станет эпиграм-

⁵ Легенда, прикрытие (фр.)

ма на Аракчеева...

Что-то пошатнулось в мироздании; Пушкин замер с открытым ртом.

– Боюсь, Пушкин к эпиграмме на Аракчеева... хм, непричастен, – вернул небесные шестерни на место Бенкендорф. – Это господина Рылеева-с творение.

– Ну что ж, – развёл руками Нессельроде, – придется господину Рылееву с вами поделиться славою, для благого-то дела.

– Вы предлагаете мне присвоить чужие стихи?!

– Скорее спасти господина Рылеева от ссылки в куда более холодный климат, – снова вмешался Бенкендорф. – Впрочем, если угодно, можете написать своё.

...О, если б голос мой умел сердца тревожить!

Почто в груди моей горит бесплодный жар

И не дан мне судьбой витийства грозный дар?

Примерно так думал в один из мартовских дней, пришедших на смену тревожной зиме, грустный генерал-губернатор Санкт-Петербурга Милорадович. Он не читал этих стихов и вообще с современной поэзией был знаком мало. Но согласился бы со стихотворением, написанным молодым человеком, стоящим сейчас понуро перед генерал-губернатором.

– Ваши дерзкие эпиграммы, оскорбляющие самого государя... – говорил Милорадович, а сам думал: как бы най-

ти такие слова, чтобы мальчик понял – он пытается биться со зверем, которого ему не одолеть. Пусть ругает Россию в своих салонах, но если он будет писать, его раздавят и забудут с усердием и даже с удовольствием.

До этого был инструктаж у Нессельроде и снова инструктаж у Нессельроде, и, для разнообразия, инструктаж у Каподистрии.

Каподистрия сидел, по-бабьи подперев ладонью щеку, и смотрел на Пушкина с нескрываемым интересом.

– Уповаю на информацию, которую вы получите в Екатеринославе, – говорил вездесущий лис Бенкендорф. – Пока что мы знаем: Зюден будет в Тамани в августе, так что будьте и вы там. В начале августа. В Тамани вас встретит или Чечен, если успеет перебраться туда из Екатеринослава, или Дровосек. Они оба в вашем распоряжении. Далее – самое главное. Как обнаружите Зюдена, – (голос Бенкендорфа не выражал сомнений в том, что Пушкин обнаружит Зюдена; ему, вроде бы, верили), – следите за ним. Если он поедет к Днестру, что не известно точно, – следуйте за ним тоже. Если нет, убивайте его и возвращайтесь, не медля. Рисковать нам ни к чему.

– А если мне придётся задержаться по непредвиденным причинам? *Par exemple*⁶, в Кавказской крепости. Время всё-таки беспокойное.

⁶ Например (фр.)

– Оп-па, – сказал Каподистрия.

– Как! Откуда вы узнали о Кавказской крепости? – Бенкендорф одобрительно качнул головой.

– Это просто, – сказал Пушкин. – Вы всё время проводите пальцем над картою дугу. И изредка посматриваете. Я понимаю, это вы мне подготовили маршрут, а смотрите, потому что вам не терпится скорее мне его растолковать. Вы всё-таки расскажите подробнее, я сомневаюсь в некоторых городах.

Каподистрия крикнул. В глубине кабинета в углу переглянулись трое молчаливых офицеров.

– Проедете по пограничным редутам с тайною инспекцией, картами вас снабдят. Никаких задержек. Если при инспекции что обнаружите – пишите и езжайте дальше. На Кавказе вам будет помогать Александр Раевский, сын того, героя двенадцатого года... Он военный, но проницателен в политических делах.

– А что, вы, Пушкин, убить-то Зюдена сможете? – поинтересовался молчавший доселе Нессельроде. (Без него не обошлось, он не мог просто так отпустить агента к проклятому Каподистрии; как бы чертов грек не выдумал Пушкину нового назначения).

– Сможет, – сказал Бенкендорф.

– А то ведь он у нас с принципом! Никого не убивает!

– Какая прелесть, – снова подал голос Каподистрия.

– Поэтому у вас есть бесценный Чечен, – обиделся Пуш-

кин. – Много ли проку, если б я его убил тогда?..

Бенкендорф сложил руки за спиной.

– Ну, господин Француз... кстати, забыл представить – ваши новые кураторы, работают под начальством его превосходительства господина статс-секретаря... – (Каподистрия доброжелательно кивнул). – Коллежский советник Черницкий, камергер Капитонов, капитан Рыжов.

Поднялись названные трое, прежде сидящие в дальнем углу. Квадратный и основательный Черницкий, Капитонов с закрученными наподобие греческого арабеска усами, и Рыжов – юноша, явно смущенный всем происходящим.

– Они будут разбирать ваши письма, составлять вместе с господином министром и господином статс-секретарем план действий...

Господин министр и господин статс-секретарь обменялись подозрительным прищуром и улыбкой соответственно.

Пушкин выразил счастье от знакомства.

– Пишите своим друзьям, обычные приватные письма, – мягко сказал Каподистрия. – Шифр в них употребите обыкновенный. Мы будем проверять каждое ваше письмо; понимаете сами, что послания без скрытого шифра... Ну, можно, можно, но нежелательны они нам.

– Хотя бы родным.

– Позволяю, господин Пушкин. Членам семейства пишите частным образом. Но остальным – только шифр, только по делу.

В дорогу, красной стрелкой по карте, легкой камерой на кране поверх голов, мимо шпиля адмиралтейства – вжик! – в игольное ушко конской дуги, между корзин на рынке – в дорогу! – вон из Петербурга, где уже *выдали прогоны*, на юг, летучим пунктиром, линией, туда, где уже весна.

– Поэзия, Никита, она сродни фехтованию. Чем больше... кыш! – распугал голубей, – ...финтов, тем труднее понять, куда будет нанесен удар. Добрый дедушка Крылов, например, сперва бьёт, а потом делает ненужный росчерк в воздухе... А вот Жуковский – это который меня хвалил...

Два месяца было убито на дорогу, и в мае 1820-го года Александр Пушкин, а с ним и Никита Козлов (в Испании он был бы Санчо, а здесь он – слуга коллежского секретаря) вышли из возка, впервые в жизни поправ малороссийскую мостовую. В руке у Пушкина была легкая трость, на голове цилиндр, на плечах – дорожный плащ. Облик Никиты был неразличим из-за покрывавших его чемоданов.

Агент Француз осматривал Екатеринослав с брезгливым интересом посетителя кунсткамеры: вот ведь какое недоразумение сотворит природа по своей неясной человеческому рассудку прихоти.

Москва и Петербург, две головы державного орла, вызывали у Александра похожие чувства, но в них ещё оставались места, пригодные для жизни. Город на Днепре показал-

ся Пушкину той Россией, которую он не любил за ее слепую привязанность к невежеству. Пушкин скучал по родному имению, по Царскому селу да ещё по столичным салонам; у него не было причин любить остальную часть государства, которое так мало подходило стихотворцу.

Екатеринослав, бывший недавно, по прихоти императора Павла, Новороссийском, выглядел не новым, но с принадлежностью его к Российской Империи едва ли кто решился бы поспорить. По одному ему можно было составить приблизительное впечатление обо всех городах, делая, разве что, поправку на малороссийский говор. Вот уже девятнадцать лет не было Павла, и город не сохранил памяти о нём; он славил Екатерину своим именем, и «Новороссийского периода» будто и не было никогда.

Вскоре по приезду пришёл Чечен.

В миру его звали Багратион Кехиани, он работал некогда на английскую разведку (not a big deal⁷), пока Пушкин не переревербовал его; теперь агент, проходивший в картотеке Коллегии как Чечен (хотя он был грузин), тихонько внедрялся в турецкую паутину, регулярно отчитываясь столичному руководству долгими экспрессивными письмами.

В гостиницу, где остановился Пушкин, Чечен пришел на рассвете, узнал Никиту, потребовал разбудить барина и, когда барин со скрипом оделся, вбежал в комнату.

⁷ Не большое дело – буквально «ничего важного» (агнл.)

– Явился! – Пушкин радостно пожал Чечену широкую ладонь.

Крепкий, черноволосый, с ухоженными усами, Чечен был на голову выше Александра. Они обнялись, и маленький Пушкин полностью исчез в объятиях Багратиона.

Пушкин, однако, помнил Чечена и более цветущим.

– Отощал, – протянул Александр, критически осматривая коллегу с ног до головы. – Тебя тут разве не кормят? Где суровый взгляд горца? Где статья?

– Пожертвовал во благо отчизны, – пожаловался Чечен. – Я ведь теперь Николай Пангалос. Грек по батюшке. Личность печальная, полумёртвая от несчастной любви к Dark Lady⁸. Мои грузинские деды и бабки, думаю, счастливы безмерно...

Чёртов Нессельроде, подумал Пушкин. Надо же было придумать именно такую легенду.

⁸ Тёмная леди (англ.) Намёк на неизвестную Тёмную леди – адресата многих сонетов Шекспира

Чечен задушил музу – в кабаке – купание в Днепре и смертельная опасность

*За что, за что ты отравила
Неисцелимо жизнь мою?*

А.А.Дельвиг

Гуровский, по словам Чечена, погиб в конце прошлого года, бедняга. Как только его смогли разгадать, он ведь был гением, этот Гуровский, разведчик от Бога, – так, по крайней мере, рассказывал Чечен.

– А что случилось-то с Гуровским? Его, говоришь, утопили?

– Да, – сокрушенно кивал Чечен, – связали и бросили с баржи. Может, зарезали сначала, на барже нашли кровь...

Пушкин поднял голову:

– Так ты не видел его тела.

Чечен покачал головой.

– А-а... – Пушкин снова впал в рассеянность, готовую смениться раздражением.

Он как раз готовился собрать из вертящихся на уме строчек стихи, обложился бумагой и изгрызенными перьями, какие, по своему обыкновению, не выбрасывал, а скрипел ими до последнего. Но Чечен отказался от послеобеденного от-

дыха и пришел сидеть. Вот и сидел Багратион Кехиани (он же Николай Пангалос), скрестив ноги, покуривая трубочку и деловито рассказывая новости разной степени важности.

Менее всего Пушкин был сейчас расположен думать о покойнике Гуровском и иже с ним; но и отослать подальше Чечена было жаль – человек искренне рад встрече и хочет подействовать.

Перо хрипло выписывало на бумаге «Во имя...», предвещающая (или не предвещающая) стихотворение. В такие моменты Пушкин делался отстранённым, огрызался на попытки завладеть его вниманием (каковых, по счастью, Чечен не предпринимал), царапал возникающие слова, глядя на них широко распахнутыми тёмно-синими глазами. Слова клеились в окончание стихотворения, и Пушкин шевелил губами, придумывая начало, потом вдруг набрасывал быстрый ряд ничего не значащих образов – чьё-то брезгливое лицо, размашистый вензель, окна...

– Мой помощник тут – поручик Благовещенский, знаешь его?

– Нет, только с твоих слов.

– Это он первым прибыл на место той драки, когда Зюден ускользнул. Поручик рвётся сейчас же участвовать, среди погибших были его сослуживцы.

– М-м... – Пушкин сморгнул вдохновение. – А Благовещенский au courant о нынешнем нахождении Зюдена?

– Увы, нет. Или Зюден выехал в Тамань, или выедет в бли-

жайшее время, вот самое большое, что мы теперь знаем.

– Что ему искать в Тамани?

– Хочет встретиться с новым информатором, может быть, – пояснил Чечен. – Не это главное. Благовещенский расскажет подробности о турецких шпионах, подручных Зюдена, которые остались здесь.

– О! – сказал Пушкин, глядя в пустоту.

– Именно, – сказал Чечен и добавил ещё что-то, уже неслышимое из-за пришедшего вдруг на ум: «Во имя истины священной».

– Слушай, – Александр зашуршал огрызком пера. – Я поработаю немного, ты загляни через полчаса?..

– Что? – удивился Чечен. – Да...

И ещё говорил, Пушкин даже отвечал ему, медленно выпроваживая за дверь. Чечена принял с рук на руки Никита и отконвоировал в пустующую комнату гостиничного номера.

Пушкин уткнулся в листы.

Иногда ему казалось, что он разучился писать стихи. Однажды после Пасхи он долго ничего не писал, так что стало казаться, что эта Пасха навсегда сломала что-то в его жизни, и стихи больше не родятся. Потом вдруг появились, и Александр повторял их несколько дней, читал Вяземскому и Карамзину, ловя себя на том, что довольство от написанного сильнее, чем желание творить что-то ещё. Было

даже неясно, как это вообще возможно – сесть и сочинить новое. Две недели он был абсолютно счастливым человеком, не имеющим ни малейшего отношения к поэзии. Потом всё вернулось, наклюнулось восьмистишие, навеянное Катуллом («*Оставь, о Лезбия, лампаду близ ложа тихого любви*»), но дальше этих строк ничего не случилось. Зато появилось про Эдвина и Алину, и ещё какое-то...

В нынешнем году Пушкин писал мало, к тому же его выбила из колеи долгая дорога. Приходилось много думать о деле.

Теперь же «истина священная» обещала быть новой причиной долгого удовлетворения и спокойной работы.

Но май и июнь сего года были неурожайными на стихи, и отчасти – по вине добродушного Чечена.

Терпеливо просидев полчаса, выкурив трубку и посетовав мысленно на нелепую фамилию Пангалос, которая не шла с Кехиани ни в какое сравнение, Багратион снова пришел к Пушкину, похлопал по плечу, сказал: «Ну, так Благовещенский будет ждать в трактире...» и всё к чертям нарушил.

Пушкин устало смял «Во имя истины...» вместе с вензелем и лицом незнакомца и кинул в корзину. Этому стихотворению родиться было не суждено.

Переместимся во времени в шестой час того же дня, когда Пушкин с Чеченом шли по жаркой улице к кабаку, отмахиваясь от мошкары и обмениваясь ничего не значащими

фразами.

Юродивый, сидящий у дороги, промычал что-то и качнулся в сторону прохожих, тряся спутанной бородой.

– Фи, – тихо сказал Кехиани, беззвучно сплюнул и, оставившись, уронил перед юродивым монетку. Тоскливо кивая на прочих идущих по улице, периодически бросающих милостыню, вздохнул, – Божий человек...

Вошли в кабак. Чечен к подобным заведениям привык, а избалованный Москвой Пушкин сморщился от резкого запаха дурной выпивки, пота и гнилого дерева. Вообще, по сравнению с Москвой, Екатеринослав был необычайно пахуч. Хотя запахи столичных духов, казалось бы, поражали разнообразием, в провинциальном городке с ними соперничали иные ароматы, демонстрируя явное численное превосходство. Пушкин выглянул наружу, с прощальным сожалением вдохнул воздух улицы и нырнул вслед за Багратионом в кабачные недра. Пришлось привыкать.

Чечен зарылся в толпу, с кем-то поздоровался, у кого-то раздобыл полуштоф с чем-то тёмным. В это время Александр сидел за столиком, с любопытством осматриваясь. К нему подсел неопрятно одетый мужчина:

– Б-брегет серебряный купить не желаете?..

– Нет, благодарю, – Пушкин отодвинулся.

– Недорого... ик!.. – в его руке качнулась серебряная луковица. – В-великолепные час-сы... Не продал бы, но... – мужчина развел руками, – нужда... Стеснен, так сказать...

Слежки нет, подумал Пушкин, закончив беглый осмотр местности. Однако, где же поручик? Он всегда так непунктуален?..

Багратион подошел, оценивающе глядя то на подаренный полуштоф, то на кружку, взвешивая их в руках.

– Всё ждём, – устало сказал Пушкин, и тут снаружи донесся женский крик, сменившийся общим гомоном.

– Что за чёрт... – Кехиани, не выпуская полуштоф из рук, кинулся к выходу, Пушкин, не обращая внимания на назойливого обладателя часов, вскочил и последовал за Чеченом.

Он догадывался, что увидит – плотную стену спин, окружившую объект внимания. Вряд ли на улицах Екатеринослава часто происходит что-то интересное. Почти так оно и оказалось, но спины сгрудились ещё не настолько, чтобы заслонить лежащего на земле человека, одетого в мундир.

Багратион, наподобие тарана врубившись в собравшихся, склонился перед военным, перевернул его лицом вверх. И со стоном выпрямился, вмазав затылком по носу подбежавшему Пушкину.

– Поручик?.. – немного гнусаво сказал агент Француз, схватившись за нос.

Благовещенский, наверное, при жизни считался красивым, но сейчас его лицо страшно искривилось: глаза ещё изумленно смотрели в пустоту, а нижняя часть лица, рот, скулы – всё это застыло смертельной гримасой. Но ужаса от вида тонкого стилета, торчащего из груди, поручик Бла-

Говещенский испытать уже не мог.

Стилет воткнули сверху вниз. Странно, ведь поручик высокого роста, чтобы нанести удар от шеи сверху, придётся встать на цыпочки или быть великаном-Чеченом.

– Высокий! – закричал Француз, оборачиваясь к толпе. – Кто тут был очень высокий?

– Так вот же он, – махнули на Багратиона. Следовало ожидать.

А если удар был нанесён человеком обычного роста (великан слишком заметен, вон, Чечен как привлекает внимание), тогда... Благовещенский, сам немаленький, должен был наклониться. Не согнуться, но изрядно податься вперёд и вниз.

А ведь он и наклонялся.

Так же, как и Чечен, и многие другие, проходившие по улице. В кабаки ходит народ бедный, опустившийся, но отчасти из-за этого сверх меры чувствительный. И подать монетку «божьему человеку» они почитают святым делом. Винный грех, наверное, замаливают.

Место, где ещё недавно сидел юродивый, теперь пустовало.

Пушкин схватил Багратиона за плечо:

– Слышишь! убогий убил!

– Что?

– Поручик подошёл бросить монетку, а получил нож! Быстреей!

Чечен вторично прорвался сквозь группу горожан и оста-

новился, озираясь.

– Куда убогий побежал?

– Пошёл, – заметил бесцветный юноша и вяло махнул, – туда ушёл дурачок.

– Скорей же!

Пушкин, сняв цилиндр и перехватив посередине трость, бросился по переулку, догоняя Чечена.

Серовато-жёлтая мокрая улица оборвалась, и Пушкин с Чеченом вылетели на открытое место. Здесь заканчивалась мостовая и начиналась всё менее утрамбованная земля; впереди рассыпались редкие домики, за которыми сухо поплёскивала запутавшимися в ячее чешуйками развешенная на колышках сеть; а за всем этим, нависая над берегом вопреки всем мировым законам, тяжело дыша прибоем, лежал Днепр – огромный, синий, несмотря на разведённую в прибрежной воде муть; почти оскорбивший Пушкина своим спокойствием. Но между перевёрнутых лодок, громоздящихся у воды, мелькнула спина нищего, и мгновенное оцепенение прошло.

Пушкин рванулся вперёд, а в следующий миг со стороны лодок гроыхнуло, и на земле в пяти шагах от Александра поднялся столбик пыли. Шпион, переодетый юродивым, стрелял.

Пушкин откатился в сторону, выпустив из рук цилиндр, перебежал под развешенную сеть. В стороне слышался го-

лос Чечена:

– У него может быть второй!

Но второго пистолета у шпиона не было. Зашвырнув оружие далеко в реку, лже-юродивый сам кинулся в Днепр, побежал в туче брызг до глубокого места и исчез под водой.

Скидывая на бегу сюртук, Пушкин приближался к реке; наконец, он замер на мокрой гальке, рывком отделил от трости набалдашник, оказавшийся рукоятью длинного ножа, бросил утратившую важность трость и прыгнул в воду.

Юродивый вынырнул подышать, и рядом с ним в воду ударила пуля, – Чечен стрелял с берега.

– Живы-ым! – захлебываясь, крикнул Александр, и Багратион опустил пистолет. Обнаружив, что всё ещё держит в другой руке полуштоф, Чечен воткнул его в песок и стал расстёгивать сюртук, собираясь последовать за Пушкиным – вплавь.

Убийца снова нырнул, исчез из виду. Круги, разбежавшиеся над тем местом, где секунду назад был беглец, вдруг смешались, по ним пробежал водяной излом – волна от плывущей баржи, гружённой, кажется, углём. До баржи Пушкину оставалось саженой пять-шесть, а юродивый так и не показывался на поверхности.

Больше всего Пушкин боялся, что убийца нырнул под плоское днище. Столько проплыть без воздуха Пушкин был не в состоянии; плавал он редко и сейчас выдохся, к тому же вода оказалась на удивление холодной, да и нож в ру-

ке здорово мешал. Но шпион появился, пытаясь ухватиться за невысокий борт баржи, вцепился в какую-то доску и с усилием подтянулся. Александр в отчаянии ударил по воде руками, силясь толкнуться ещё хоть немного вперёд. И понял, что успеет. Преследуемый явно не рассчитал скорость баржи, и судно, показавшееся ему спасительным, оказалось на деле дурную услугу – тяжёлая баржа шла вдвое медленнее, чем шпион способен был плыть. Пушкин повернулся и, уже не волнуясь, поплыл по течению, медленно, но неуклонно сокращая расстояние.

Снова выстрел. Стрелял Чечен, стоя по пояс в воде. Глаз у Багратиона был верный, и пистон – новинка в оружейном ремесле – не подвёл. На спине беглеца, почти перевалившегося через борт, расцвело кровавое пятно, юродивый дернулся, пальцы его разжались, и тело, отделившись от борта, скользнуло вниз. Его утянуло под баржу.

И только тогда Багратион поплыл.

Пушкин в ярости ударил кулаком по скользящему мимо дощатому борту:

– Зачем!!!

По лицу Француза текла вода, волосы, обычно курчавящиеся и легкие, облепили голову. Александр походил на короткое, но злое чудовище, поднявшееся со дна. Он оскалился, когда Чечен оказался рядом.

– Идиот... – хрипло сказал Пушкин, отплевываясь. – Зачем... ты его... убил?!

– Ушёл бы он, – Кехиани кивнул на судно, успевшее отдалиться.

– Куда ушёл, баржа еле ползёт!

– Думаешь, он поплыл бы на ней? Да ну, что ты. Перебежал бы по углям на тот конец, прыгнул бы в Днепр, и ищи его.

– Parbleue!⁹ Проклятье! Parbläyть! Это же их шпион! Благовещенского он убил, как мы теперь выйдем на турок? Последнюю ниточку ты обрубил!

– Одним мерзавцем меньше, – мотнул мокрой головой Чечен. – Лучше так, чем кабы ушёл. Он ведь твое лицо видел и, верно, запомнил бы.

– Merde... Давай выбирать.

На берегу успела собраться группа рыбаков и их жён, услышавших выстрелы.

Когда Пушкин с Кехиани выбрались на мелководье и встали на ноги, к ним попытались осторожно приблизиться, но Чечен рывкнул: «Прочь! Пошли прочь!» и люди шарахнулись, а при виде Александра с ножом, грозно выходящего на берег, и вовсе предпочли ретироваться.

Александр выпустил из рук нож и сразу стал похож на больного черного цыплёнка. Волосы потемнели от воды, а угрожающий вид закончился, как только оружие выпало из ладони Пушкина на песок.

– Вот, согрейся, – выдернул из песка полуштоф и протянул Пушкину.

⁹ Проклятье (фр.)

Пушкин сделал большой глоток, но тут рука его дрогнула, и сосуд полетел вслед за ножом. Чечен устало подобрал его.

– Бывает...

– Фу, – Пушкин сморщился. – Ну и пошло.

– А ты думал, жить в Екатеринославе легко?

Александр усмехнулся, но тут же помрачнел и принялся отряхивать песок с брошенного у воды сюртука.

– Но как Благовещенский мог раскрыть себя?

– Хотел бы я знать, – пожал плечами Багратион. – Хорошо хоть тебя никто из шпионов не видел. А кто видел, уже не расскажет.

До гостиницы Пушкин дошёл один, по указанной Чеченом улице, где «никто тебя, Саша, не увидит в таком... хм, образе». Почему-то всё сильнее болела и кружилась голова, а у самого порога вдруг начал бить озноб.

– Барин! – Никита бросился к Александру, схватил его за плечи. – Что с вами, барин?

– Всё со мной хорошо, – сказал Пушкин и вдруг мучительно сжал виски.

В глазах разлилась болотная мгла, Пушкин крепко зажмурился, и сознание его покинуло.

Никита подхватил валящегося на пол барина, но Пушкин этого уже не чувствовал.

Раевские – у доктора – Мария – тем временем в Петербурге

*Но Двенадцатого года
Веселáя голова,
Как сбиралась непогода,
А ей было трын-трава!*

П. Вяземский

На рассвете по улице прогрохотала карета и остановилась возле гостиницы, куда двумя днями ранее приполз и слёг в тяжелом бреду Александр Пушкин. Рядом с каретой скакал верхом юноша-кавалерист лет восемнадцати. Юношу звали Николаем; он был красив той особенной, романтической красотой, какая рождается от ментиков и усов и создаёт из мальчика настоящего гусара. Такие гусары не были редкостью, и на юношу почти не смотрели, а вот карету несколько прохожих проводили заинтересованными взглядами.

Действительно, пассажиры кареты были куда интереснее. Во-первых, там ехал отец молодого всадника, Николай Николаевич (открывающий, соответственно, династию Николай-Николаичей) и две девушки – сестры Соня и Машенька, четырнадцати и пятнадцати лет. Обе, разумеется, Николаевны.

К гостинице приближалось в неполном, но и без того эф-

фектном составе семейство Раевских.

В крытом возке, катящем следом, ехали слуги.

Раевский-старший был в то время почти легендой. Герой Отечественной войны, кузен Дениса Давыдова, то и дело попадавшего в неприятности из-за своей нелюбви к драгунам, но всенародно любимого. Впрочем, и без родства с Давыдовым Николай Николаевич был бы человеком выдающимся. Салтановки и Бородине было достаточно, чтобы генерал Раевский снискал почтительную любовь всех, кто хоть что-то понимал. Даже изрядно отдалившиеся от реальной жизни (не говоря уже о политике) денди проникались неким чувством по отношению к старому военному – он напоминал им о чём-то, чего они не могли до конца отвергнуть.

Таким денди мог бы стать и Раевский-младший. Но он с детства был в армии, да ещё и под надзором отца. В одиннадцать лет оказался в гуще Бородинского сражения, а после этого что-то в человеческом характере навсегда выпрямляется – в добрую ли, злую сторону, но задает направление, почти наверняка лишая возможности влиться в карнавалы-яркие блуждания сверстников.

Однако, мы далеко ушли от событий того майского утра.

– Несчастный юноша, – гудел Раевский-старший. – В его годы ссылка – это почти смерть. Оторвать его от *света* – куда как жестокое наказание. Однако его стихи не могли остаться незамеченными...

София согласно закивала: она тоже читала Пушкина. Се-

мья Раевских являла собой редкое явление – она была образована *вся*. Отец мог с легкостью обсуждать с любой из дочерей (включая и отсутствовавших в той карете Екатерину и Елену) равно стихи, политику и Томаса Мора.

Мария заметила, что имя Пушкина им предстоит услышать ещё не однажды, на что Раевский-младший рассмеялся и напомнил, что имя Пушкина они услышат через минуту, как и его голос.

– Съехал ПушкИн, – сказал хозяин постоянного двора, без интереса разглядывая выстроившуюся перед ним семью. – Два дня как съехал.

– Куда? – тревожно спросил Раевский-младший, и получил исчерпывающий ответ, любимый всеми, с кого хоть что-то может спроситься: «Не могу знать!»

Самое интересное, что не мог этого знать и сам Пушкин.

От открыл глаза и тут же сощурился, стараясь хоть немного сфокусировать взгляд. Потолок расплывался облаком. Обнаружив способность смотреть также и вбок, Александр обнаружил у самого своего лица дырявый угол подушки, откуда выглядывал пучок сена и перьев. (Подушка, очевидно, бывшая некогда перьевой, придя в негодность, была реанимирована при помощи сена). За подушкой начали оформляться контуры незнакомой комнаты, бедно обставленной, но довольно чистой. У постели недвижно сидел, скрестив руки и обратив лицо кверху, Никита. Он мог подолгу сидеть

так, не шевелясь. Пушкин знал, что Никита часто спит сидя.

Что с моей комнатой, хотел спросить Александр, но, шевельнув сухими губами, понял, что издать слышимый человеческим ухом звук сможет только после хорошей порции яичного ликёра. Оставалось попросить упомянутый ликер, для чего пришлось все-таки напрячь связки.

Услышав сдавленное сипение, Никита обернулся и узрел Александра, сияющего прочистить горло.

– Очнулся барин!

– М-м, – Пушкин поморщился от крика и, наконец, обрёл дар речи. – Что?

– Естественно, очнулся, – новый, чужой голос доносился из-за стены. В голосе проскакивал южный, кажется, даже еврейский акцент. А вскоре обладатель голоса возник на пороге, только разглядеть его пока было тяжело. – И так долго без сознания был.

– Никита, – Пушкин сел на постели и замотал головой, пытаясь стряхнуть серую пленку, заволакивающую глаза. – Где я? что со мной?..

– Отравились вы, барин, – радостно сказал Никита, возвращая Пушкина в горизонтальное положение.

Посторонний приблизился, и сказал с тем же акцентом:

– Да, и я уже голову сломал, пытаюсь понять, какого яду вы выпили. Очень странное действие.

Лицо у незнакомца было обычное, бородатое, но с очень колоритным носом.

– Кто вы? – Александр снова сел.

– Яков Кац. Здешний фельдшер. Ваш слуга, как узнал, что вы отравлены, решил поместить вас у меня, мсье Пушкин. Вы уж простите, живем мы небогато, апартаменты маленькие.

Александр плотно зажмурился, и Никита испуганно схватил его за плечо. Пушкин отодвинул его руку.

– Погоди. Дай-ка вспомнить.

Вспомнить удалось всё, до возвращения с купания в Днепре.

– Сколько я был... э-э...

– Два дня, – сказал Никита. – Бредили вы, барин. Охти, барин, испужался я. Думал, помрёте. Доктор вас выходил.

– Благодарю вас! – Пушкин потянулся к Якову Кацу и снова был уложен Никитой.

– Что вы, мсье Пушкин, не стоит, – отозвался доктор, и тут из соседней комнаты послышался чудовищный скрип. А потом, перекрывая адские звуки, раздался женский голос:

– Изя! Нашел время! После поиграешь, отравленному мсье нельзя пилить мозги!

И в комнату, мгновенно уменьшившуюся, вошла внушительных габаритов женщина. За ней выглянули мальчик и девочка. Мальчик держал скрипку и почему-то пытался спрятать её за спину.

– Рива, – сообщил доктор. – Моя жена.

Пушкин, борясь с вернувшимся головокружением, выда-

вил нечто любезное.

– Дети! – масштабная Рива простёрла длань над головами потомства. – Поздравьте отравленного мсье, что он снова с нами!

Дети, казавшиеся очень маленькими и грустными, особенно по сравнению с матерью, огромной и доброй, приблизились к постели Александра и остались стоять в молчании.

– Никита, – негромко сказал Пушкин. – И что, знает кто-то, что я здесь?..

– Откуда, барин, знать-то? Я сразу смекнул, что коли вас отравили, значит захотят...

– Тссс!!! – зашипел Пушкин.

Дети отшатнулись.

– ...Убить ещё раз, – зашептал Никита в самое ухо Александру, – когда смекнут, что вы живой. Я вас у жидовского фельдшера спрятал, он обещался никому не говорить...

Никита, прежде никогда в своей долгой жизни не общавшийся близко с евреями, верил всем диким предрассудкам и историям, которые до него доходили, однако забота о барине и природная сообразительность одержали верх над невежеством.

– Ради Бога, – Пушкин повернул голову к доктору, – вы ведь не обижены на Никиту за его... это? Он не юдофоб, тем более я. Если он вас чем-то оскорбил, пока я лежал в беспмятстве...

– Что вы, – смиренно ответил Кац. – Я уже рассказал ему,

что мы не пьем кровь христиан, и не добавляем её в мацу. А уж когда я сделал вам первое промывание, мне и вовсе начали доверять.

Пока я тут валялся, мне стукнуло 21, лишили праздника, мерзавцы... А ведь меня отравил подлец Багратион.

Память возвратилась полностью; теперь нужно было вернуть ясность ума.

Багратион оказался предателем и подсунул бутылку с отравой – что ж. К чёрту эмоции, сейчас нужно быстро думать. Багратион – Зюден? Вряд ли, но связь между ними есть. Самая гадость в том, что миссия уже не тайная. В сущности, она уже провалена, эта миссия. Единственным козырем Пушкина была легенда, теперь же он может возвращаться в Петербург; и пусть Нессельроде думает, кого отправлять вместо неудачливого поэта.

Итак: Багратион. И если он подсунул полуштоф с ядом и увидел, сколько Пушкин выпил, то, верно, должен был надеяться следующим утром на постоянный двор, убедиться, что Француз мёртв.

Проверить гипотезу был послан Никита.

Когда карета Раевских выезжала с постоянного двора, Никита появился в воротах, и молодой Николай Раевский крикнул:

– Глядите, это же Сашин крепостной!

Unter mein Kind's Wiegele
Steit a klor weiss Ziegele,
Dos Ziegele is geforen handien...

Гнусавый женский голос перекрывал все прочие, но иногда сквозь него (и сквозь детский писк) прорывался негромкий, но бодрый баритончик Александра.

– Слышите? – гордо поднял палец Никита, сидящий в карете напротив Раевских. – Барин поёт.

Опрятная кровать, на ней больной, укрытый до подмышек одеялом. Лицо больного чуть припухло – может, от долгого лежания, а может, виной тому болезнь. Голова его курчава, щёки плохо бриты. Он поднимает очи на вошедших и, видя дам, старается сказать любезность, шевеля смешно губами и тем напоминая шимпанзе. Они когда-то виделись, недолго; достаточно недолго для того, чтоб встретиться сегодня, как впервые. Глаза его прозрачны от усердия, с каким он ищет нужные слова, но говорит банальность: рад вас видеть, польщён, et cetera, et cetera. Они всё это слышат повсеместно и повседневно: их отец – герой, прекрасны сёстры, мужественны братья. Они всё это слышат от соседей, от адвокатов, от секретарей, от докторов, от родственников тётки, от киверов, усов и эполет, от вееров, от мушек над губами, от высочайших и не высочайших – они всё это слышат. А сегодня представилась оказия – поэт, к тому же, говорят, не из последних, к тому же, говорят, любитель женщин,

за что он, говорят, сюда и сослан, они ведь тут не очень, в Петербурге гораздо лучше. Впрочем, не о том. Он не найдёт хотя бы полсловечка, хотя бы звука чуточку иного, чем те, что так успели надоесть? И – не находит. Мямлит, извиняясь, что жаль, что застают его в постели; что вы прекрасны, о, вы так прекрасны, он это говорит, а про себя уже наметил ту, что ближе к двери, и говорит ей: о, вы так прекрасны, имея на уме ее одну. Он видит в ней всё то, что было нужно ему всегда, а он искал другого – не умысел виной тому, а просто он ранее не знал, что есть она. И, думая об этом, он краснеет и говорит нелепицу, и другу трясёт ладонь, и вместе с ним хохочет, а та, что ближе к двери, заскучала, она разочарована поэтом, он говорит обычные слова, болеет некрасиво, и не видно его под одеялом. Вот и всё, что вы узнать хотели о поэтах. Но отчего-то, право, отчего? – во время этих скучных разговоров, пока отец-герой, сверкая прошлым, рассказывает о любви к искусству, а юноша трясёт ладони другу и вспоминает преступления детства, пока сестра старается дышать сквозь веер (запах здесь и впрямь ужасен), и шумно дышит сквозь него, как будто уже изобретён противогаз – та, что у двери, смотрит на кровать, на мальчика, которого она лет на пять, представляете, моложе, и почему-то не отводит глаз.

Там была Мария Раевская.

Николай Раевский, он же Николя, подросток со времен про-

шлой встречи с Пушкиным – в ту пору ещё лицеистом. Вообще, следовало признать, что он возмужал, хотя и вёл себя во многом по-мальчишески. Тем приятнее было чувствовать себя взрослым.

Николя, после долгих приветствий и ностальгических шуток, вручил Александру конверт, прошептав на ухо:

– Я знаю о твоей миссии.

– Что за бред? Какой миссии?

– Брат рассказал.

Пушкин сломал печать и вынул сложенный лист; оказалось – шифрованное письмо. В письме было:

«Милостивый государь Александр Сергеевич!

Мне удалось устроить все таким образом, что давно планируемая отцом поездка пройдёт наиболее удобным для Вас маршрутом. Пользуясь тем, что отец и сестры без ума от Ваших стихов, а Николай дружен с Вами с детства, предлагаю Вам продолжить путь на Кавказ вместе с моим семейством. Полагаю, это будет гораздо безопаснее для Вас, нежели путешествие в одиночестве.

Я сообщил отцу Ваш адрес в Екатеринославе.

Брату, интересующемуся источником такой информации и выяснившему, что исходила она от Нессельроде, пришлось рассказать, что Вы исполняете некую миссию. Я взял с него слово, что он не будет выпрашивать у Вас подробностей миссии и в общем её сути. Полагаю, это приемлемая цена за Вашу безопасность в пути.

Ваш покорный слуга
Александр Раевский».

...Доктору Рудыковскому, которого Раевские, вопреки протестам Пушкина, притащили, пришлось наплести о лихорадке, вызванной плаванием в Днепре.

– Вздумалось вам купаться, – покачал головой Рудыковский. – Столичные прихоти, юноша. Рисковать-то здоровьем тут можно, а лечить некому... Позвольте? – потянулся за листом бумаги, лежавшим на прикроватной тумбе.

– Это стихи! – Пушкин выдернул недописанное шифрованное письмо из рук опешившего Рудыковского. Пришлось посылать за чистой бумагой.

Как раз вернулся Никита, вторично бегавший к постоялому двору, и доложил, что никто, кроме Раевских, Пушкиным не интересовался. Странно.

В тот же день переехали: из невольного пристанища, дома Якова Каца, в усадьбу над обрывом, с видом на Днепр.

В Петербурге шёл дождь, и грустил граф Нессельроде. Граф не имел средства против грусти и не знал, что оное средство легко мог подсказать блуждающий где-то в Екатеринославе Француз. Спроси граф его совета, Француз бы записал на бумажке «кн. Голицина» и велел бы с сим рецептом обращаться на Миллионную 30. Вино и полуночные беседы в доме княгини развеяли бы хандру, но граф всего этого не знал, а знал только то, что сказать никому не решится:

погода скучна и скучен человек, сидящий напротив.

— Вам должно быть известно, что Каподистрия покрывает греков, занятых в антиосманском движении, — говорил скучный человек, начальник Главного штаба Его Императорского Величества Пётр Волконский. Голос у него был бесцветный, ровный, словно в любой момент Волконский мог зевнуть и поглотить всё важное, о чём говорил.

— Известно, и что с того? Пусть его, — сказал граф. — Не возглавит же он самое греческое братство. Он уже проиграл, назначив во главу Ипсиланти.

— Да, из-за Ипсиланти восстание обречено, — согласился Волконский. — Но вообразите, что будет, если поднимутся русские греки. Я имею в виду не одну общину, а всех греков России. Император вынужден будет оказать им воспоможение, то есть разорвать отношения и со Священным Союзом, и с османами. А сие означает немедленную войну с турками, причём на помощь Пруссии и Австрии мы можем не надеяться.

— Боюсь, вы преувеличиваете способности Ипсиланти. Заручись поддержкою русских греков, давно что-нибудь предпринял. К тому же император благоволит мне, а не Каподистрии. А я попрошу установить надзор за всеми греческими обществами империи.

— Это происходит независимо от ваших отношений с государем. В Крым выехал некий штабс-капитан Рыул, он молдаванин из числа принявших сторону Ипсиланти. Если Ипси-

ланти поддержат крымские греки... Господин министр, нам всё равно придется выбирать – позволить им действовать от имени России, или лишить Ипсиланти русского подданства. А он как-никак адъютант Его Величества.

– Сейчас же пошлю кого-нибудь в Крым к Броневскому.

– Я бы на вашем месте усилил *la vigilance*¹⁰, – сказал Волконский. – Восстание может оказаться османам только выгодно, это явный повод для начала войны.

И явный повод избавиться от Каподистрии, удовлетворенно подумал граф, проникшийся к скучному Волконскому некоторой теплотой. Ипсиланти что-то мутит, а деньги ему выделяет любитель греков Каподистрия. Довыделяется.

Нелепость, грубая прямолинейность времени, не дающая человеку заглядывать в будущие годы, как в отложенные на завтра несрочные дела, – только это помешало графу Несельроде подумать: «ужо тебе, старый тролль!»

¹⁰ Бдительность (фр.)

Чечен найден – отъезд – Александр Раевский – град и несостоявшаяся дуэль

*Нет в страшном граде пощажённых:
Всех, всех глотает смертный ров!*

В. Кюхельбекер

Мария взяла за обыкновение ходить под окнами, напевая что-то неслышимое из дома. Иногда прогуливалась с сестрой Софией. Этих прогулок было достаточно: можно было смотреть на неё постоянно, запоминая движения. На дом она не оглядывалась, увлеченная песенкой или беседой, легкая, в светлом, почти детском платье (ещё год назад оно было бы уместным, но природа нетерпелива, ей тесно в детской одежде, она стремится быть увиденной, и, Господи, свихнуться можно, глядя).

Так думал Пушкин, подтягиваясь на руках и запрыгивая на подоконник дома Пангалоса-Кехиани. Стоило прийти сюда ещё вчера, но после отравления он был слишком слаб для приключений.

Просунув нож в щель меж створок окна, Александр отпер засовы. Спрыгнул в помещение, выхватил пистолет. Так, с пистолетом в одной руке и ножом в другой, он прокрался

в соседнюю комнату и застыл на пороге.

Багратион Кехиани висел над столом, почти касаясь чернильницы носками туфель. Словно сидел человек, работал и вдруг воспарил. Будничность увиденного поразила Пушкина. Он залез на стол, чтобы снять покойника и заодно осмотрел петлю. Верёвка крепилась к балке под потолком – необычный узел, что-то похожее на лассо. Свободный конец висит почти до самой петли: завязывал наспех, не рассчитал длину верёвки? На шее черные пятна, – Чечен дергался в петле. Любой бы дергался. Зачем же ты повесился, Иуда, не совесть же тебя замучила? Пушкин с трудом приподнял тело, пытаясь снять его, не сумел и слез. Встав на четвереньки, оглядел ножки стола. Стол, судя по царапине на полу, сдвигали на полпяди, не более.

Что-то смущало, и Пушкин никак не мог понять, что.

– Лезу на стол

– Привязываю верёвку к балке

– Завязываю петлю и вешаюсь.

Узел!

Завязать можно было и обычным узлом, продеть верёвку в щель между балкой и потолком и затянуть. Но узел завязан не на балке, а вокруг свободного конца верёвки. Потом за верёвку потянули, и место затяга передвинулось вверх, захватив балку арканом. Такие сложности нужны были только в одном случае: петлю вязал тот, кто не дотягивался до балки. Багратион со своим ростом легко бы достал туда, и ве-

рѳвка была бы подвешена иначе, гораздо проще.

Выходило так:

– Душим Кехиани

– Залезаем на стол, перекидываем верѳвку через балку

– Завязываем скользящий узел, закрепляем верѳвку

– Втаскиваем Багратиона на стол (мертвец тяжѳлый, случайно подвинули стол, пока тащили) и вдеваем его в петлю

5) Profit.

Пушкин едва удержался, чтобы не взять со стола покойника перо и не начать его грызть. Ах да, вспомнил он, бутылка. Полуштоф вручили в кабаке Багратиону, он собирался из него выпить, но помешал крик с улицы.

– *Quel idiot je suis!*¹¹ – вслух сказал Александр и ударил себя по щеке. – Пустая моя голова!

Мог вспомнить сразу, мог сообразить, что яд предназначался Чечену, а не ему. Мог бы и заметить, кто передал Чечену полуштоф. Кто-то знакомый, даже, наверное, друг, раз Кехиани без колебаний взял отраву. И если бы Пушкин подумал об этом сразу... Нет, всё равно не успел бы. Тело висит уже больше суток, Багратион погиб, пока Пушкин валялся полумѳртвый в доме Якова Каца. Кто мог убить Багратиона (со второй попытки) и Благовещенского? Логично предположить, что переодетый юродивым убийца был человеком незначительным, может быть, не шпионом вовсе, а обычным наѳмным. А вот кто раскрыл и спокойно, расчѳтливо убрал

¹¹ Какой же я идиот! (фр.)

сразу двоих агентов Коллегии в Екатеринославе? Кроме Зюдена, некому.

И получалось, что Пушкин сейчас – единственный, о ком Зюден не знал, даже другие агенты Коллегии не знали. Благовещенский вряд ли знал – он шёл на встречу с Багратионом, где и должен был быть посвящён в курс новой операции. Знал только Чечен, и он мёртв. Значит, Пушкин для Зюдена по-прежнему не существует. Значит, на Пушкина единственная надежда.

Тело не снял: в свой срок найдёт сосед или полиция.

– Прости, дружище.

Зюден объявится в Тамани в августе, и важно не обнаружить себя к тому времени. Предстояло не самое неприятное: вести обычную жизнь. Другой службы и не было, кроме безмолвного ожидания, без писем, без знакомств.

Единственным служебным поступком был визит к губернатору Инзову.

Пушкин показал Инзову документы, выданные Коллегией, объяснил, что находится здесь по тайному поручению.

– От ваших поручений не родились бы дети, – невежливо сказал Инзов.

Устыдить важного человека не позволял статус, оскорбить – обстановка секретности, так что Александр долго и убедительно втолковывал о государственной важности его здесь пребывания, демонстрировал подписи Нессельроде и Каподистрии под «оказывать всяческое содействие». Ин-

зов поверил.

— Я вас покорно попрошу отнестись с пониманием к моим шалостям, — сказал Пушкин. — Всё это я буду делать с намерением создать себе репутацию.

— Осторожнее, — предупредил Инзов. — Откуда мне знать, как далеко вы собираетесь зайти.

— Несколько невинных выходок, — успокоил Пушкин, планируя явиться на бал в прозрачных лосинах.

План был реализован двумя днями позднее и обеспечил Александру не только требуемый образ, но и глубочайшее моральное удовлетворение.

Лосины, если быть точным, не были совершенно прозрачны, но тонки и узки сверх всякой меры. Дамы замахали веерами, мужчины возмутились и попросили молодого человека покинуть званый ужин. Глухой к репримандам Пушкин сказал:

— Нет! Я буду танцевать! — и был тотчас выдворен.

Инзов, памятуя подписи, закрыл на всё это глаза.

Впредь Француза никуда не звали, а гостей он нагло провоживал и вскоре прослыл чудачком, с которым не стоит водиться, хотя он и чертовски обаятелен, когда рассказывает анекдоты или пародирует обезьянней своею рожею выражения лиц почтенных пожилых господ.

Дамы, видевшие Пушкина на балу, шарахались от него при встрече, но после провожали долгими взглядами. Дру-

гого душа поэта и не требовала.

Но пришло время отъезда на Кавказ, а значит, и нам пора в путь, за каретами, в одной из которых:

– Ну, Софи, пускай он маленький, но у него премилые глаза, и он всё время смотрит на меня в окно...

В возке храпел Никита и напевали что-то горничные Раевских.

А в другой карете:

– О, Денис – вот вам пример соединения воина и поэта в одном человеке! Помню, когда мы уже шли от Москвы, и Bonaparte начал издыхать...

Пушкин слушал Николая Николаевича вполуха, думая о том, как заговорить с Марией.

Когда остановились напоить лошадей, Александр подошёл.

– Мария Николаевна, вы, верно, утомлены дорогою? – он сказал это по-русски, для разнообразия. Все устали, и некоторые бестактности сходили с рук. Мария удивлённо моргнула, и ответила по-французски:

– Mais bien sur, – сказала она, – je suis un peu fatiguée¹².

– А давайте убежим? Что нам, в самом деле, эта ужасная дорога. Давайте пешком до Америки.

Он почувствовал, что выбрал правильный тон. Пусть Мария полагает, что он видит в ней ребёнка.

¹² Конечно, я немного устала (фр.)

Она рассмеялась и вдруг серьёзно сообщила:

– Придётся плыть через океан, а у нас ведь нет лодки.

– Построим плот. Но учтите, я до смерти вам надоем в плавании.

– Чем же?

– Разговорами о поэзии, *naturelement*¹³.

Природным внутренним чутьём Мария поняла, что разговор становится *перспективным*.

– Вы что же, всегда говорите только о поэзии?

– Да, – сказал Пушкин. – Всегда, когда волнуюсь.

Звонко закликал пролетающий над дорогой дятел.

– Ах, – Пушкин перевел взгляд с тонущего в ослепительном розовом свете силуэта Марии Раевской на небо, – Вы слышите? Соловей.

Когда въезжали в Тамань, им овладела элегическая тоска. Снова предстояло работать, возможно, рисковать, а хотелось ехать, мечтать о Марии и том, что службы никакой нет. Вспомнилось старое, им самим любимое:

В кругу чужих, в немилой стороне,

Я мало жил и наслаждался мало!

И дней моих печальное начало

Наскучило, давно постыло мне!

К чему мне жизнь, я не рождён для счастья...

¹³ Естественно (фр.)

Ехал, глядя в окно невидящими глазами, шептал эти строки и думал, что ничего он, в сущности, не представляет собою. Повзрослевший, уже проживший лучшую часть своей жизни – где? с кем? в Коллегии переводчиком, потом тайным агентом, не любя при этом свою работу, чувствуя, что занимается не тем, не стихами, не любовью, а презираемой многими службою. Много ли проку в том, что он никогда не ловил и не будет ловить политических, а только иностранных шпионов? Двадцать один год. Не женат, любил многих, но надолго не сошёлся ни с кем и даже не тоскует об этом, влюблён сейчас, но что такое любовь? Пусть она ему откажет, – бросится ли он в море или залезет в петлю (бедняга Багратион!)? Нет, будет жить, утешится б... ми и вином, а завтра полюбит снова, напишет о том хорошие стихи, и так будет кружить на пути своём и вновь возвращаться...

Потом он увидел Марию в окне поравнявшейся с ними второй кареты, а после стал думать о Зюдене, и печаль отступила.

Окрестностей было из окна не разглядеть. Заслоняли обзор сопровождавшие генерала казаки (сзади грохотала по камням пушка, которую они возили за собою¹⁴). Они ехали двумя рядами по обе стороны от экипажей.

¹⁴ Каким бы странным это не представлялось, но правда: казачий отряд, сопровождавший Пушкина и Раевских, вёз с собой пушку. Совершенно как стражники в «Бременских музыкантах».

Так ли уж генерала они сопровождают, думал Француз, вспоминая письмо Александра Раевского. «Полагаю, это будет гораздо безопаснее для Вас, нежели путешествие в одиночестве». Ай да Раевский!

Писал письма. Осмотр Кавказских крепостей не дал ничего, всё решится (или не решится) в Тамани. А Тамань выглядела отвратительно, даром что близко к морю.

Вышли недалеко от побережья. Александр ушёл вперед, размяться – он вообще по натуре был подвижен, и после долгого сидения хотелось носиться по городу, крича «А-а-а-а-а-а-а-а!!!» Так он и сделал. Остановился у края обрыва, замахав руками, слыша за спиной смех и возгласы спутников.

Море было синим только у берега, а дальше становилось серым и плоским. Оно поднимало линию горизонта, на которой угадывались светлые очертания Крымского полуострова. В Крым хотелось больше, чем оставаться в Тамани.

– А-а-а-а-а-а-а-а!!!

– ...лександр Сергеевич.

«Командный голос» – подумал Пушкин. Такой голос призван быть слышимым, он громок, даже когда спокоен.

Подъехал молодой полковник.

– Семейство моё, – продолжал он, спешиваясь, и Пушкина больше словно не видя. – Как я по вам скучал!

Александр Раевский был старше Пушкина, но с виду как-то моложав. Определить его годы Пушкин попытался (служба обязывает уметь), и, прикинув, решил, что выглядевшему

на двадцать Раевскому около двадцать шести.

– Рад знакомству, Александр Сергеевич. Не терпелось вас увидеть своими глазами.

Глаза у Раевского были умные, острые.

Профессиональные глаза.

– Александр Николаевич, – Пушкин склонил голову. (Чёрт, ну и момент для знакомства – он-то орал над морем, а тут...) – Прошу простить, я слегка...

Раевский вдруг зажмурился и, по-петушиному запрокинув голову, завопил:

– Тама-а-а-а-а-а-нь!!!

Все снова засмеялись, и Раевский спокойно отметил:

– Я закончил начатое вами, теперь наш разговор никого не интересует. Простите, что сразу к вопросам, я нетерпелив, но теперь это, думаю, можно... Что можете сказать об нашем деле – вообще?

Пушкин выдохнул.

– Probablement¹⁵, Зюден знает большую часть наших агентов, Александр Николаевич.

– Оставьте это всё, просто Александр. Это я, между прочим, у вас в подчинении. Откуда знаете?

– Чечена и его помощника, некоего Благовещенского, убил он. Чем-то себя мог выдать Благовещенский, не знаю... Но Чечен сидел тихо, ни в чем не участвовал. Вывод отсюда: о нём Зюден узнал от других наших людей.

¹⁵ Возможно (фр.)

– Значит, правда, что Чечен убит? Я слышал, он повесился.

– Я не писал об этом, слишком... – Пушкин махнул рукой.

– Мудро, – согласился Раевский. – И глупо одновременно. Если б вы погибли, кто бы что узнал?

Не такой уж он и гений разведки, этот хвалёный Француз, – читалось в глазах Раевского. Чтобы скрыть эту мысль он вынул из кармана очки и посмотрел на Пушкина сквозь стекло. Линзы делали лицо Раевского старше.

– Как ты сильно худеешь, – сказала София, оглядев Раевского. – Хорошо ли тебе здесь живётся?

– Хорошо служится, – улыбнулся Раевский. – Живётся скучно. Давайте-ка отправимся домой.

В штатском Раевский смотрелся романтичнее. Худой, с тёмным чубом, в очках, которые он снимал только на время конных прогулок («Часто падают, я люблю в галоп») – что-то опасное было в нём, какая-то скрытая холодная сила.

– Благовещенского я не знал, а с Чеченом встречаться доводилось... Вот ещё одна смерть на совести Зюдена. А первым был Гуровский.

– И вы знали его?

– Нет.

Прогуливались под стенами крепости.

– Однако, скоро нас будет искать Дровосек.

– Почему такая кличка?

– Поймёте, думаю, когда познакомитесь ближе. Ему подходит.

Каблуки Раевского выбивали ритм: тук-тук. И всё жило по этому ритму: одновременно с шагом касалась земли трость, отмахивала свободная рука, и слова звучали мерно, согласно шагу.

Раевскому нравился Пушкин: в нём была заносчивость, но Француз её сдерживал. Признавал в Александре Николаевиче – официально своём помощнике – человека более опытного. Таких партнёров Раевский уважал.

Вышли к центру.

Здесь была почти Европа. Грязевые вулканы привлекали народ. Всюду слонялись казаки, молодые девушки и поправляющие здоровье раненные. Пушкин сунулся в толпу («на минуту, пока Дровосека нет»), и вернулся через десять минут в сопровождении капитана с огромными усами.

– Александр, я прошу вас быть моим секундантом.

– А можно моим? – хмуро спросил капитан.

Выяснилось:

Едва углубившись в толпу, Пушкин увлекся разговором об истории тмутараканского княжества, и, следуя за компанией говоривших, поравнялся с капитаном, как раз в это время рассказывавшем:

– И вот представьте, градина в три фунта весом пробивает солому. Я в это время...

– Позвольте с вами не согласиться, – вмешался Пушкин,

компенсируя наглость улыбкой. – Не бывает града в три фунта весом.

На что капитан ответил:

– Бывает, сударь, я это ясно видел.

– Вы, верно, ошиблись, – сказал Пушкин, – Три фунта – это уже комета, а не градина. Peut-être, она и была крупной, и потому вам показалось, что в ней было три фунта, но, поверьте...

Тут капитан сгрёб Пушкина в кулак, куда тот, кажется, поместился весь, и сказал:

– Вы хотите сказать, что я спутал со страху?

Закончилось все уже известной нам сценой: явление Пушкина с капитаном Александру Раевскому.

– Каков пассаж, – выдавил ошеломлённый Раевский. – Познакомьтесь, господин Пушкин, это Максим Максимыч Енисеев, наш Дровосек.

Призрачный Каподистрия подкрутил в воздухе перед Пушкиным ус и отчетливо произнес: «Прелестно!» Француз помотал головой, прогоня наваждение.

– А это наш лучший agent secret¹⁶, Француз, Александр Сергеевич Пушкин.

Капитан Енисеев обдумал, осознал и сообщил, что знакомству рад, но трёхфунтовый град все ж таки существует.

– Да как же он может существовать! – возмутился Пушкин. (Раевский отвернулся и стал тихонько насвистывать) –

¹⁶ Секретный агент (фр.)

А впрочем, Бог с Вами. Пусть будет хоть три фунта, хоть пять. На Кавказе всё может быть.

Наблюдение за домом – взрыв и погоня – Максим Максими́ч и бомба – о шишках – возвращение героев

*Бурей гонимый наш челн по морю бедствий
и слез;*

*Счастье наше в неведеньи жалком, в мечтах
и безумстве:*

Свечку хватает дитя, юноша ищет любви.

А.А.Дельвиг

Максим Максими́ч, человек простой, служивый, побаивался умных людей, а поскольку страх для солдата недопустим, прятал смущение за краткостью фраз и непрошибаемой их очевидностью.

Будь наша история рассказана по его впечатлениям, выглядело бы это примерно так:

Пушкин. ...Докладывайте, нет ли

Здесь иностранных всяческих шпионов?

Раевский. Да-да.

Пушкин. И постарайтесь вспомнить чётко.

Раевский. Ведь если ошибётесь, вас повесят.

М. М. Вчера вечером приехал какой-то Мирон.

Пушкин. Как интересно!

Раевский. Очень интересно!

Пушкин. Он, вероятно, подданный турецкий
Раз вы о нем сейчас упомянули?

М. М. Он художник.

Раевский. Подумать только, человек искусства
Пожаловал в наш бедный край. Не странно ль
Все это?

Пушкин. Да.

Раевский. Я полон подозрений.

Поведайте же нам скорей, голубчик,
Что вы ещё развели о нем?

М. М. Откуда взялся – не знаю, поселился в заезжем доме
на окраине.

Раевский. Негусто, капитан, весьма негусто.

А может статься, он и впрямь художник,
И ничего опасного в нём нет?

Пушкин. Я сам не чужд искусству, между прочим.
Словесности всходящее светило,
Поэт, каких немного – перед вами.
Читали вы?

Раевский. Он важный человек.

И если не читали, вас ведь могут

Того... (достает кривой турецкий кинжал и проводит им
у горла Максим Максимыча)

Пушкин. Мон шер, не будем отвлекаться.

Итак, при чём тут вообще художник?

М. М. Так он уже дважды встречался с турецким агентом из Феодосии.

Пушкин. И вы молчали!

Раевский. Что же этот турок?

М.М. Он у нас давно на примете.

Пушкин. И что же он?

Раевский. Прошу вас, не томите.

М. М. Он связной.

Пушкин. (Раевскому) Связной, а это, вероятно, значит, что он кого-то связывает с кем-то,

И, может быть, он нашего шпиона...

Раевский. Художника.

Пушкин. Его. Быть может, свяжет

С другими... Тут-то мы их и поймаем! (переходит на румынский)

– Господи, Раевский, его поэтому зовут Дровосек?

Раевский весело блеснул очками.

– Не знаю, но как по мне – не поленом же его звать? На то он и дровосек, чтобы рубить. Не обижайтесь на капитана, он трудяга, а что слова не вытянуть, так это сейчас и в свете модно.

Пушкин задумчиво покусывал перо, глядя в записанное на листе. Выстрогать из немногословного Енисеева удалось только то, что Мирон, встречающийся со связным, неболь-

шого росту, бородат и носит очки. Так что узнать его без бороды и очков едва ли возможно. Он мог оказаться Зюденом или, по крайней мере, Зюдена знать. Да и связной, нарочно оставленный на свободе, возможно, имел к Зюдену отношение.

Встречались они в доме, занимаемом Мировым.

(– D’ailleurs¹⁷, кто хозяин дома?

– Теперь старик Изюбрев. Но он давно уже в Тамани не бывает, а дом сдаёт сын его, пьяница... Мирю просто выбрал дом подешевле).

Разошлись на три стороны: Пушкин засел под окном, Равевский следил за дверью, Енисеев прятался за калиткой, контролируя двор в целом.

Разглядеть Мирову и его гостя сквозь затянутое пузырьём оконце, было непросто, но определённо первый был бородат и сед, а второй лет тридцати и темноволос.

Пушкин вынул из внутреннего кармана слуховой рожок и приставил к стене.

Доносились голоса, но слов было не разобрать. Пришлось обходить дом, чтобы не быть замеченным из окна, и по стволу сохнувшей айвы лезть наверх. С дерева Пушкин перепрыгнул на крышу. Упал удачно – на мягкую солому. Обняв трубу, Александр медленно выдохнул, успокаивая сердцебиение. Снова вынул слуховой рожок, отогнул латунные

¹⁷ Между прочим, кстати (фр.)

скобы на узком его конце и вытянул оттуда длинный кожаный шланг, прежде сложенный в рожке. Сунув один конец шланга в ухо, Пушкин стал медленно опускать болтающийся на другом конце рожок в дымоход.

В это время Енисеев, потерявший Француза из виду, покинул укрытие, прошёлся вдоль плетня, как бы прогуливаясь, увидел Пушкина на крыше, округлил глаза, но тут же собрался и неспешно двинулся в обратную сторону. Этого хватило, чтобы бородатый Мирон в доме шепнул:

– Тише! За домом следят. На крыше ещё один. Говорим о живописи и медленно уходим.

– Ну я, к слову сказать, не могу назвать ни одного выдающегося русского мариниста, – услышал Александр далёкий голос.

– Вас погубит скромность, Андрей Васильевич!

Донёсся шум.

– Помогите-ка... Я уложу кисти. Благодарю вас. Ну вот, ничего не забыли?

Пушкин махнул Раевскому, и тот, коротко кивнув, вынул пистолет.

Дом взорвался.

Цветком раскрылись стены, распираемые изнутри жарким чудищем, не желающим более таиться; сломало и выбросило высоко вверх балки крыши, мгновенно вспыхнувшая солома рухнула внутрь, туда, где прежде были комнаты.

Камни, ещё недавно составлявшие печь, разлетелись шрапнелью, и лишившееся преграды пламя вырвалось и поднялось – громадное, тёмное.

Александр Раевский откатился, закрывая лицо, оглушённый и ослеплённый. Тут же вскочил и бросился к горящим развалинам. Енисеев, чёрный от копоти, с обгоревшими усами, уже оттаскивал первое бревно, будто надеялся вручную разобрать огненную гробницу Француза. Но тут из дыма к ногам Максим Максимыча с диким криком выкатился в горящем сюртуке Пушкин. На него набросились, стали тушить, засыпать в четыре руки песком.

Пушкина спасли солома и балки, замедлившие падение. В результате сгорели брови, были серьезно обожжены правая рука и левая щека, правая щека неглубоко порезана. От костюма осталось чуть меньше, чем от ammonitских городов после ухода войска Давидова.

– Куда они?.. – прохрипел Пушкин, плюясь сажей.

– Никто не выходил.

– Не могли же они сами себя!..

– Разве только под землю.

И Енисеев, видимо, от потрясения обретший способность изъясняться последовательно, воскликнул:

– Конечно, подземный ход! Здесь масса потаённых ходов со времён турецкой войны!

– Куда они ведут?! – Раевский, прекратив ощупывать Пушкина, вскочил.

– В основном к морю.

Пушкин поднялся, кашляя и матерясь, упал, снова встал на ноги и нетвёрдой походкой направился к коням. Жеребец Раевского, испугавшись взрыва, оборвал повод и ускакал, поэтому Пушкин с Раевским вдвоём сели на крепкого коня, прежде принадлежащего Енисееву. Капитану, соответственно, достался пушкинский рысак.

Бабы, бредущие торговать мелкую снедь на рынке, разбежались при виде апокалиптического зрелища: человек в разбитых очках и чёрт скачут вдвоём на пегом битюге, а за ними несётся капитан с оборванными эполетами. На коне, чёрном, как дым, поднимающийся за их спинами.

Всадники остановились у обрыва, откуда накануне Пушкин разглядывал крымский берег.

– Разделимся, – бросил Раевский и спрыгнул на землю. – Пушкин, езжайте верхом, вы и так еле живы. Я пройдусь. Француз прокашлял что-то в ответ.

Холмистое побережье прочёсывали чуть меньше часа. Пушкин, оправившись от шока, теперь стонал и скрипел зубами: жгло руку и лицо.

Упасть бы в обморок, и пусть сами ищут.

Но над холмами прокатился далеко разносимый ветром крик Дровосека:

– Сто-о-ой! – и сразу за криком выстрелы.

Ближе к капитану оказался Раевский, и, когда Пушкин добрался до места, Дровосек с Раевским уже лежали за куста-

ми, паля в сторону воды. Рядом мотал головой в песке умирающий конь.

– На землю! – страшным, командным голосом гаркнул Раевский, засыпая порох. Голос этот буквально смёл Пушкина с коня. С моря вновь прогремело, на холме, расположенном выше занятой позиции, посыпались камешки, и стало тихо, только ветер шумел в кустах.

– Сколько раз стреляли?

– Они трижды.

И каждый мог перезарядить по разу, значит, остаётся одна пуля.

Пушкин с шипением стянул остатки сюртука и швырнул их через кусты. Выстрел, – сюртук дёрнулся на лету и повис на колючих ветках, окончательно убитый.

– Можно, – Француз поднялся в полный рост. – Снова заряжать не станут.

К воде не сбежали, а съехали на спинах по песчаному склону, цепляясь за палки и кувыряясь на каменных выступках.

Двое бежали по колено в воде в сторону большого утёса (лодка у них там, что ли?). Догнать их удалось бы, если бы тот, что был пониже ростом, не кинул в преследователей чёрный шар. Раздумывать не приходилось. Пушкин упал, уткнувшись носом в ближайший холмик, рядом попадали Раевский и Енисеев. Вовремя – секунду спустя перед ними поднялся столб рыжей земли, по ушам ударило, и все

звуки исчезли.

Александр поднял голову, посмотрел на Дровосека, беззвучно шевелящего губами, на море, где лодка (не ошибся, лодка у них есть) отделилась от скалы. Бородатый, стоя в лодке, широко замахнулся и снова что-то бросил. Брошенный предмет покатился по песку перед самым лицом Француза, и подумалось отстранённо, что теперь уже точно всё.

Максим Максимыч получил свою первую контузию в пятом году под Аустерлицем. Потом – двенадцать лет спустя, на Кавказе, он видел, как солдат поднимает с земли не успевшее разорваться ядро и тотчас разлетается кровавыми ключьями вместе со взрывной волной, принесшей Енисееву, тогда ещё подпоручику, вторую контузию. Сейчас этот солдат отчётливо вспомнился. Да я же сам так стою, понял Максим Максимыч, держа в руках бомбу и глядя на дымящийся фитиль. Эта мысль капитана необычайно развеселила: вот ведь какая странная превратность судьбы, подумал он, не понимая толком, в чем именно видит превратность.

Вслед за тем он подумал, что ещё мгновение, и сам разлетится кровавыми ключьями по широкому побережью. Делать это капитану Енисееву не хотелось вовсе, а времени исправить неприятность не оставалось, его не хватало даже на бросок. Безумно досадуя, что все выходит так глупо, Максим Максимыч поднёс снаряд к губам и плюнул на фитиль. Запал отозвался шипением, но не погас, однако шипение это

было звуком рождения ещё одной секунды, и оную секунду Максим Максимыч потратил на то, чтобы хорошенько размахнуться и забросить снаряд в воды Чёрного моря, замершие в ожидании.

Когда бомба коснулась воды, время, дождавшееся, наконец, исхода, облегчённо тронулось с места; волны опустились, вспенившись, вода от взрыва поднялась, точно стог сена, отлитый из стекла, и стена испещрённого остриями брызг воздуха, достигнув берега, сбросила Максим Максимыча в темноту его третьей контузии.

– Как будем объясняться? – мрачно поинтересовался Раевский, пока тащились к дому.

– А?

– О-бъ-я-с-н-я-ть-с-я! – по буквам прокричал Раевский в ухо совершенно оглохшему Енисееву.

– А, – шёпотом сказал тот, – Этого я не п-подскажу.

Сосны шумели темно-синими кронами высоко над головами.

– Шишка упала! – вдруг прошептал Максим Максимыч со значительным видом.

– Да?

– Можно сказать г-господам Раевским, что шишка на нас упала.

Не сразу поняли, что этот нескладный, но замечательный вообще-то человек так шутит.

– Трёхфунтовая, – мстительно сказал Пушкин.

Раевский-старший отдыхал после ужина и навстречу не вышел, что принесло немалое облегчение. Оставались Николая и дамы.

– Что с вами?! Боже, откуда вы пришли? Вы ранены? Мы слышали взрывы! Послать за врачом?

Пушкин посмотрел на Раевского.

– Мы... – севшим голосом сказал Раевский, – были на пожаре.

– Спасали ребенка, – радостно подхватил Пушкин.

– Из горящего дома.

(Хорошо Енисееву, – подумалось. – Снимает комнату у полуслепой старухи, та и не заметила ничего).

– Несчастное дитя, – с чувством сказал Пушкин. – Едва не задохнулось в дыму.

Раевский энергично закивал, и из волос его выпала щепка.

В дом они входили под восхищенные восклицания Николая Раевского-младшего и всхлипы его сестер.

– Чёрт побери, мало того, что вы спасли чьего-то ребенка, может быть, теперь Сашу помилуют и вернут из ссылки.

– Мы не называли имен! – поспешно сказал Пушкин. – И просили нас не искать.

– К чему эта слава, – согласился Александр Раевский.

Уже у самых комнат Пушкина догнала Мария, и стало ясно, что день, полный риска и неудач, лишь натягивал тетиву,

готовясь выстрелить в сердце Александра этой прекрасною минутой – минутой вознаграждения.

– Александр, вас ведь могут помиловать! Подвиг на пожаре – разве это не *une cause suffisante*¹⁸?

– Мари, – произнес Пушкин, глядя не неё честными голубыми глазами, – для меня вернуться в Петербург означает сейчас расстаться с вами. Поверьте, лишь вдали от вас я почувствую себя в изгнании.

Мария покраснела ровно настолько, насколько позволительно краснеть девушке от слов, в которых можно ведь и *ничего не разглядеть*.

Наблюдавший за этим из приоткрытых дверей Раевский хмыкнул, покачал головой и, решив, что прояснить вопрос с сестрою можно будет и позже, отправился спать.

¹⁸ Достаточное основание (фр.)

Вставная глава

Jeden Nachklang fühlt mein Herz

Froh- und trüber Zeit

*(с немецкого: Сердце моё чувствует каждый отзвук
Радостного и мрачного времени)*

Götte

Навстречу вышел маленький человечек с близко посаженными глазами и кривым носом. Глаза у человечка были серые и мутные; он озирался, приглаживая волосы, и кланялся, то и дело сминая гладкое и блестящее, точно лакированное, лицо почтительной улыбкой.

Жаль, что он так молод, – подумал тогда Меттерних. – Ему пошла бы старость. С лица сошёл бы лак, глаза бы скрылись за очками, а волосы, если останутся, поседеют и будут иначе смотреться, даже растрёпанные. А сейчас – сколько ему лет, этому суетливому чиновнику? Чуть за двадцать в лучшем случае.

– Судьба любит шутить, – сказал Меттерних. – В обоих нас течёт немецкая кровь, вы служите России, я – Австрии, но встретились мы всё-таки в Дрездене.

– Удивительно, – чиновник шарил глазками по костюму Меттерниха. Видно было, что он не находил в сказанном ничего удивительного.

– Слышал о вашем отце, – Меттерних подошёл поближе. – Что же, давно вы здесь?

– Почти год.

– И, видимо, надолго?

– Как велят дела русской миссии, – пожал плечами человек. Меттерних понял, что кривоносый собеседник в силу тщедушного сложения и маленького роста смотрит снизу вверх. Этого нельзя было допустить, иначе дружбе не бывать. Тогда Меттерних отставил ногу и ссутулился, чтобы казаться ниже, да ещё заставил себя опустить руки, по давней привычке сложенные на груди. Это помогло. Человек осмелел и даже продолжил, – Вы ведь тоже не выбираете, куда направят вас главы посольства.

– Не выбираю, – Меттерних поднял руки и улыбнулся: «сдаюсь, вы правы». – Все мы заложники службы. Я, кстати, тоже недавно в Дрездене.

Человек не мог сообразить, зачем разговаривает с ним австрийский посланник, пусть и не слишком, кажется, важный. Нужно ли ему что-то? Скучает ли? Будет ли задавать вопросы, на которые запрещено отвечать? – хотя что может выведать австриец у мелкого служащего иностранной коллегии?

– Вы, должно быть, родились в Берлине? Слышно по вашему выговору.

– Я родился на корабле, – смущённо улыбнулся чиновник. – И через три часа после моего рождения корабль при-

чалил в Лиссабоне. А в Берлине я учился, а сейчас был при старом министре до самой его смерти.

– Новый царь, новый министр... Да, Россия обновляется, – сказал Меттерних. – Вы не находите в этом высшей закономерности? Я живу дольше вас и научился замечать, как в один-два года одна эпоха сменяется другой, а вместе с прошедшим временем умирают и его подданные.

Он, может быть, прав, – подумал молодой чиновник, чуть более года назад привезший в Баварию весть как раз-таки о кончине прежнего императора.

– Всё будет свежим, – продолжал Меттерних. – Как бы нам с вами удержаться в новом времени, а не стать отмершими листьями старого. Впрочем, вы молоды, вы – человек будущего.

Меттерних, к своей величайшей досаде, не мог знать будущего, но старался его предвидеть, а ещё предпочтительнее – созидать. Этот лакированный немец с мутными глазками, Карл-Роберт фон Нессельроде, казался многообещающей глиною, из коей можно было умелыми руками вылепить что-то действительно стоящее.

За восемнадцать лет до того, как Пушкин прибыл в Тамань, в далёком Дрездене встретились двое будущих друзей, будущих коллег, будущих министров иностранных дел.

Мария – проклятая погода – трубка – Феодосия и Броневский – тайна Пушкина – в Петербурге

*И вдруг я на берегу – будто знаком!
Гляжу и вхожу в очарованный дом.
В. Кюхельбекер*

Мария Николаевна, Мари, Машенька к пятнадцати годам знала всё, что полагается знать девушке, и сверх того – всё, что надлежит знать человеку образованному вообще. Она не стала книжной барышней, как старшая сестра Екатерина, но сумела объединить в себе живость души и глубину ума; ей самой это было приятно сознавать. Сердце её было смятенно внезапной способностью объяснить прежде только смутно переживаемое: сомнения, страх, стыд, восторг, грусть. Мария поняла, что повзрослела, что более она не ребенок, что теперь она может сказать, заглянув в себя: я люблю, я сомневаюсь, я... – без игры, но с уверенностью в собственной, переставшей быть загадкой, душе.

Ей прочили быть завидной невестой; она ею стала. На следующий год предстояло стать чьей-нибудь женою.

Александр, составивший достаточно полный, как ему показалось, психологический портрет возлюбленной, не смог выделить места лишь для собственной роли в мыслях юной

Марии Николаевны.

«Маленький женский вестник» оброненный ею на лестнице, был Пушкиным подобран, просмотрен и сохранён для воспоминаний в тайном отделении чемодана, рядом с документами от начальства. Стоило ли надеяться на сближение, Пушкин не знад.

Он сидел, забравшись с ногами на подоконник, глядел на море и тихо сходил с ума от бездействия.

Раевский курил трубку, стоя у окна.

– Корабли начнут ходить только после бури. Боюсь, мы просидим тут ещё дня два.

– А, хоть бы они действительно были в Кефе! – (Кефою или иначе Каффой называлась тогда Феодосия) Пушкин нервно чесал кончики пальцев. Его давнюю гордость, длинные ухоженные ногти, пришлось отстричь под корень, чтобы сравнять с обломанными во время вчерашних приключений. Пальцам было непривычно.

– Где им ещё быть? Связной приплыл из Кефы и возвращается туда вместе с Зюденом.

– Это, по-вашему, сам Зюден?

– А вы считаете, что в одном не самом интересном городе могут одновременно оказаться два настолько опасных человека?

Пушкин кивнул:

- Une autre question¹⁹. Поплывут ли они в Кефу теперь, когда знают, что их преследуем мы?
- Не думаю, чтобы они смогли нас узнать. По крайней мере, вас и меня – Енисеева Зюден, похоже, видел.
- Я не о том: мы спугнули их. Кто может ручаться, что они не изменят путь?
- И что вы предлагаете?
- Понять, с какою целью вообще приехал этот связной. На что ему нужен Зюден?
- Связаться с турками, – Раевский выдохнул дым. – Хотя, погодите, Дровосек говорил, этот связной – последний, кого не схватили в Тамани.
- Совершенно верно.
- Мог, конечно, ошибиться... – задумчиво сказал Раевский.
- А вы сами, живя тут, что думаете?
- Я верю Дровосеку, а больше него – себе. Этого турка умышленно не тронули, значит, были уверены, что он один. Даже если я ошибся, в Кефе живёт старик Броневский – о, Броневский – это отдельный рассказ... Так я говорю, у него везде найдется человек. Он бы знал.
- Тогда... – Александр слез с подоконника и зашагал по комнате, машинально трогая обожжённую щеку и тут же отдёргивая руку. – Тогда-тогда-тогда...

Есть одно место, где могут оставаться турецкие аген-

¹⁹ Ещё один вопрос (фр.)

ты. Оно попросту слишком велико, чтобы найти всех.

– Крым, – сказал Пушкин.

– Крым, – согласился Раевский. – Очень может быть.

– А, проклятая погода! Чёртов шторм! Они же совершенно потеряются в Крыму!

– Спокойнее, друг мой. В погоде нет вашей вины. Выкурите трубку, и будем надеяться на скорейший отъезд.

– Благодарю, я не курильщик.

– И напрасно, успокаивает нервы. Попробуйте-попробуйте. Табак, кстати, турецкий.

Пушкин, давно проникшийся тайною завистью к трубкоурам, сдался и попробовал. Опустим историю его первых неумелых затяжек, кашля, тошноты и плевков, – это удел каждого, и вообще, разочарование есть начало любого открытия, с коим руки ли, легкие ли, сердце ли ещё не научились управляться: будь то женщина, или трубка, или одиночество.

Вечером того же дня Александр сидел в облаке густого дыма, пахнувшего не то ваксой, не то орехом. Курение увлекло его; он глядел на свою тень, на темный носатый профиль с длинным чубуком, и думал о будущих стихах. Думалось больше о том, как он будет читать их друзьям, нежели о самих строфах: силы ушли на изучение азов трубочной науки, и творчество было на время отложено.

Доверим его дыму; он сейчас никуда не убежит.

Мы же – к закатному морю, к лучам, ко всей этой роман-

тической дряни вроде парусов и бликов. Не обойдётся без всадника. Это Александр Раевский, заметив, что близится конец непогоды, мчался в порт искать подходящее судно. Он скакал тонкий и черный в вечернем свете, на лучшем своем коне по имени Авадон и думал, что Француз, конечно, неглуп, но, пока им работать вместе, многое предстоит делать за него.

В одиннадцатом часу Пушкин спустился к ужину, и Николай сообщил:

– Пока ты отдыхал, решилась судьба следующих недель путешествия.

– М-м? – Пушкин смотрел на Марию, сажающуюся за стол; из-под платья выглядывала ножка в лёгкой туфельке.

– Солнце вышло, брат поехал искать корабль, который отвез бы нас в Керчь, а оттуда поедem в Каффу, в Крым. Ты ведь не против Крыма?

– А... Крым. Ну да. Нет, что ты, конечно, не против. А почему именно Крым?

– Идея брата. А если он что предложил – он этого добьётся.

Ай да Раевский! – второй раз уже подумал Француз. – Как быстро всё организовал. Помощник и впрямь отменный.

А вслух сказал:

– *Sûrement*²⁰, характер отцовский.

²⁰ Наверное (фр.)

– Ты прав, может быть... хотя отец не так категоричен. Саша! признайся честно! Эта неожиданная поездка не помещает твоей миссии?

– Приметили что-нибудь?

Два Александра шли вдоль курганов, отмахиваясь от мошканы. Далеко за их спинами остались кареты. Вышли прогуляться, когда проехали первые четыре версты в сторону Феодосии.

– Удивительное зрелище.

Глаз петербуржца, привыкший к серому, желтому и зеленому, а за время путешествия и к синему, отказывался верить обилию оттенков красного цвета, какими изобиловала земля на выезде из Керчи. Малиновые цветы да розоватые солончаки.

– Да, красота необыкновенная, – Раевский сощурился, глядя вдаль, и в эту минуту не казался опасным. От яркого солнца у него заслезился глаз. – Работать, – встряхнулся он. – С вами не поймаешь, или у вас стихи на уме, или что-то думаете по делу.

– Просторы, – Пушкин сел на камень. – Пешему здесь не добраться, и дорог, кроме нашего тракта не вижу.

– Их и нет.

– Вот видите. Остаётся надеяться, что наши предположения верны. Зюден со связным доплыли до Керчи, на их лодочке это трудно, но можно. Потом – если принять, что они

двинулись в Кефу – им пришлось ехать по той же дороге, что и нам.

– Думаете, это нам чем-нибудь поможет?

– Хоть что-то. Alias, если они побывали в Кефе, значит, есть надежда на вашего драгоценного Броневского...

– Он и впрямь сокровище, а не человек, зря смеетесь.

– Разве я смеюсь, сокровище так сокровище. Задержатся ли они в Кефе, судить невозможно, может быть, они уже плывут далее, но к Броневскому-то нам точно не лишним будет попасть.

Раевский заглянул Пушкину через плечо:

– Что-то вы тут рисуете?

Александр показал план местности, который он наспех нацарапал ножом на подобранной доске, выломанной, видимо, из бочки.

– Вы хороший картограф.

Жара и усталость сближали. Пушкин пожаловался:

– Покурить бы.

– Заразились табачным недугом, – констатировал Раевский. – Правильно, с трубкой думается легче.

– А только без неё не думается.

– А вот этого нельзя, сосредоточьтесь. Сейчас в первую голову служба, потом все прочие радости. Кстати, видел я, как вы смотрите на Мари – вы это, Александр Сергеич, бросьте.

Броневский оказался совсем старым, обрюзгшим, с ред-

ким седым пухом на черепе. Глазки смотрели тускло, будто человек давно умер, а с гостями беседовал портрет, покрывшийся пылью. Только голос был хорошим, молодым:

– Добрый вечер, добрый, господин Пушкин! Николай Николаевич говорил, будто вы пишете стихи.

– Да, немного, – ответил Александр.

Раевские давно дружили со стариком и так восторженно о нём отзывались, что Пушкин недоумевал теперь: что нашли они в этом пустом, безжизненном человеке?

Понял, когда сидели впятером – в мужской компании – в зале и курили.

Броневский рассказывал об истории Крыма. Вплелась туда и его собственная история: оказалось, что после кавказской службы его направили в Феодосию, где он живёт вот уже двадцать лет, что сейчас он в вынужденной отставке и под судом, потому как честный человек, попадая сюда, неизбежно либо станет брать мзду, либо угодит под суд. (Тяжело шаркая, Броневский поднялся и перебрался в соседнюю комнату, откуда притащил вынутый из комода ящичек с номером 11).

– Всё, судари мои милые, всё тут сохраняю, да, – говорил он, поглаживая ящичек, словно щенка. – За двадцать лет набрал столько, что летописцы позавидуют, – и вернул Феодосийские хроники на место, к десяткам таких же нумерованных ячеек.

Выяснилось, что ему пятьдесят семь – возраст преклон-

ный, но выглядел Броневский куда старше.

— А не желаете ли, господин Пушкин, сад посмотреть? Яблочки, хурма... — и повёл показывать сад.

— Вы всё хозяйничаете, Семён Михалыч, — полуодобрительно-полусочувственно заметил Раевский-старший.

— Тружусь, — затряс редким седым пухом Броневский. — Возделываю землю, из которой, так сказать, взята.

Короткими лапками тянулся Семён Михайлович к веткам, поглаживал крепкие, здоровые бока зреющих яблок.

Пушкин понял, что тяжёлая служба погасила и смяла Броневского; и тот не смог избежать её жерновов, ибо от природы не умел обходиться без труда.

— Когда-нибудь и ты, Алекса, будешь таким добрым садоводом, — усмехнулся Раевский старший.

Александр Николаевич pokrивил рот и не ответил, зато вмешался Николя, заметивший, что в наблюдении утреннего сада есть прелесть, понятная только человеку утончённому. А ты его посади и ухаживай, хотелось сказать на эти его слова.

Александр Раевский в присутствии отца делался молчалив. Он, кажется, сам не знал, как держаться; строить из себя Байрона, как Николя, было не по возрасту, а совпадать с Николаем Николаевичем-старшим во взглядах на мир не удавалось, да он и не пытался. Что же до Николя, — тот переживал увлечение томной романтикой.

Когда трубки были выкурены, а сад оценён гостями, Пуш-

кин с Раевским поймали Семёна Михайловича без посторонних.

– Господин Броневский, нам необходима ваша помощь.

– Да-да? – подслеповатый взгляд на Раевского. – Помощь, судари мои, я всегда... Какая, говорите.

– Ваши агенты. Вы ведь не позабыли этих своих вездесущих?..

Что-то переменялось в лице бывшего губернатора. Показалось, что он сейчас позовёт на помощь. Раевский протянул ему подписанные в Коллегии бумаги.

– Я помощник господина Пушкина в выполнении mission secrète²¹. Вы как сотрудник Коллегии и бывший градоначальник сможете оказать нам неоценимую услугу...

– А! стало быть, граф и вас успел запрячь. Я уж перестал удивляться, когда Нессельроде выкидывает такое... А всё ж-таки поэта жалко. Жалко, сударь мой милый! – Броневский сторбился, но в глазах его впервые зажёгся огонь предстоящего дела; сейчас он говорил первое, что приходило в голову, думая о другом. – Запомните, господа, когда вы оставите службу, уедете куда-нибудь в Париж, даже умрете – граф всё равно придумает, как использовать вас для своего ведомства... Я четыре года в отставке, но нет, до сих пор гонцы ко мне: «сослужите службу, Семен Михалыч!»

– Какие гонцы? что за служба?

– Пойдемте-ка наверх, – он повёл Пушкина к своему ка-

²¹ Секретная миссия (фр.)

бинету; Раевский поспешал следом. – Привезли послание от графа. Его сиятельство просит меня проследить за крымскими греками. В Молдавии и Одессе сейчас собираются силы греческих повстанцев, сторонников патриотического братства «Филики Этерия», кажется, они замыслили революцию.

– Но Крым-то тут причём?

– Если этот генерал Ипсиланти, который возглавил греческое общество на юге, склонит греков Крыма на свою сторону...

Раевский возбуждённо сорвал с носа очки:

– Это же весь Крым пойдёт воевать!

– В точности так.

Ипсиланти запросто может втянуть в войну всю Россию.

– Есть прямые доказательства планов «Филики Этерии» на крымских греков? – напряженно спросил Пушкин.

– В том-то беда, что скоро в Крым пожалует человек от Ипсиланти, а это куда как повод подозревать тут Этеристов.

И это происходит удивительно вовремя.

– Простите, Семён Михалыч, мы удалимся ненадолго.

– Разумеется, – пробормотал старик, тускло глядя на Пушкина. Александр не мог оценить своего странного сходства с Броневским. Оба они были голубоглазы, волосы Броневского в молодости так же вились, даже форма губ нес-

ла в себе некую общность с пухлыми африканскими губами Француза. Единственным, кто обнаружил сходство, был Александр Раевский, но Пушкину он ничего не сказал, поскольку тот, едва оказавшись с Раевским за дверью, схватил сотрудника за грудки и стал тормошить самым бесцеремонным образом.

– Понимаете? Нет, вы понимаете?!

– Перестаньте меня трясти. Я обязан помогать вам в расследовании, а не в физических упражнениях.

И Пушкин объяснил:

– Мы, то есть турки, готовы к войне, а Россия не готова

– Начать войну сейчас, значит, ее выиграть, но на стороне России выступит Священный союз

– Тогда мы, воспользовавшись тем, что греки организуют безопасное для нас сопротивление, заставляем крупнейшие греческие общины России примкнуть к нему

– Российский государь, видя, что изрядная доля его подданных отправилась воевать за свободу Греции, решает дилемму «поддержать-не поддержать» в пользу «не поддержать», но поздно – самые высокопоставленные лица уже втянуты

– Священный союз отворачивается от России

– Воюем

– Аплодисменты.

– Не хлопайте у меня под носом, ради Бога. Вы сегодня как сбесились.

– Вы не понимаете главного! – Пушкин заглядывал Раевскому в темные холодные глаза. – Зюден! C'est ce qu'il veut²² – спровоцировать наших греков!

– Убедительно, но вы можете оказаться и неправы. Доказательств нет.

– Так у нас, Александр, вовсе ничего нет, – резонно заметил Француз. – А теперь есть идея, к тому же похожая на правду.

– Согласен, согласен, – Раевский потёр переносицу. – А это означает: дальше в Крым.

По лестнице поднимались Сонюшка и Мария.

– Ах, мсье Александр, что вас так обрадовало?

– Нынче солнечно, – ответил вместо Пушкина Раевский. – Я и сам в приподнятом настроении.

– По тебе этого никогда не видно, – сказала Соня и убежала наверх.

– Pouvez vous garder un secret? – серьезно спросил Пушкин Марию.

(В глазах Александра Раевского в этот миг сменились выражения от изумления и ужаса до любопытства).

– Mais pourquoi vous demandes?

– Вы женщина, Мари. А женщины умеют хранить лишь те тайны, что будут хранить их самих. Требовать взаимности от тайны – это, право, мудро, напрасно женщин упрекают в легкомыслии.

²² Вот, чего он хочет (фр.)

Мария почти испугалась. Лицо Пушкина никогда прежде не было так близко к ней, и сделалось видно то, что она привыкла не замечать в нём: некрасивый нос, обезьяньи губы, пухлые детские щёки и странно сочетающиеся с ними большие, серьёзные глаза. Да ещё и эти шрамы на скулах – следы ожога. Александр был вблизи страшноват.

– Слушайте, Мари, я сообщу вам тайну, которую вы обязаны знать, для вашего же блага, – (наклонился к самому её уху). – Вы самая прекрасная из всех женщин, из встреченных мною. Если когда-нибудь вам вздумается развязать войну, на вашей стороне будет армия влюблённых в вас мужчин. Знайте это.

И Пушкин легко сбежал по лестнице вниз. Как бы удивился он, узнав, что происходило (одновременно с только что состоявшимся разговором) в Петербурге.

Санкт-Петербург, кабинет статс-секретаря Каподистрии.

Успевшие уже позабыться нами Каподистрия, Рыжов, Капитонов и Черницкий сидят вокруг стола. Все бодры и полны рвения и интереса к работе. Черницкий держит в руках стопку листов.

Каподистрия. Итак, господин камергер, на чём мы остановились?

Черницкий. (читает) «...Кавказа гордые главы»

Рыжов. Смысл очевиден.

Черницкий. «Над их вершинами крутыми...»

Капитонов. Стоп. Это что, так до конца и понимать все буквально?

Каподистрия. (с неуловимой иронией) А что вы хотите? Пейзажная лирика.

Рыжов. (он немного стесняется старших по званию) Господа! Давайте будем последовательны. «Над вершинами» – это начало. Пожалуйста, прочитайте далее...

Черницкий. (читает) «...На скате каменных стремнин»... Так, ну это проходно... «Питаюсь чувствами немymi»!

Каподистрия. А вот тут подумаем, господа! Что за немые чувства?

Капитонов. Видимо, он не находит на Кавказе ничего подозрительного. То есть, образно говоря, Кавказ молчит-с.

Каподистрия. (негромко) По-моему, нам с лихвой хватает одного говорящего образно. Вы-то уже не уподобляйтесь...

Черницкий. А почему ж стихотворение такое грустное?

Капитонов. А потому и грустное, что не находит...

Рыжов. А если он видит проявления какой-то диверсионной деятельности, но косвенные?

Каподистрия. Не уходите в лирику. Нам сказано: «Питаюсь чувствами немymi».

Капитонов. Я все-таки склонен считать, что это означает спокойствие Кавказа.

Каподистрия. (махнув рукой) Будь по-вашему. Посмотрим, что дальше.

Черницкий. «...И чудной прелестью картин». Пожалуй,

господин Капитонов прав.

Капитонов. Читайте дальше, господин камергер.

Черницкий. «...Природы дикой и угрюмой».

Каподистрия. Вот! Вот и нотка драматизма зазвучала! Что это, по-вашему, а?

Черницкий. Это бред стихоплёта... по-моему, он манкирует.

Капитонов. Там ведь правда дикая природа. А угрюмая... ну, допустим, он чувствует опасность, но не видит ее проявлений.

Каподистрия. Какая у вас фантазия, советник.

Рыжов. Господа... а может быть, это просто стихи?

Черницкий. (строго) В каком смысле?

Рыжов. Ну просто. Стихи.

Утренний совет – прощание с Броневским – снова плыть – о чём не напишут

*Законы осуждают
Предмет моей любви;
Но кто, о сердце, может
Противиться тебе?*

Н. Карамзин

Небо в ночь перед отплытием было ясным-ясным, поглядишь – и увидишь, как высоко над Феодосией звёзды вершат свои звёздные дела, лишь по недосмотру сохраняя до сих во вселенной синюю булавочную головку Земли; а где-то на Земле стоит город Петербург и полуостров Крым, и так смешны расстояния между ними, что думаешь поневоле – человек не обучен правильно ходить, иначе мог бы одним шагом преодолевать все дали, разделяющие земные места.

Пушкин курил, глядя на море, и тосковал по Питеру. Море равнодушно блестело: ему не было никакого интереса до Пушкина; оно не воевало с Турцией и не читало стихов. Утешал Француза только могучей крепости табак, подаренный Броневским.

– Не спится? – спросил Александр у летучей мыши,

мелькнувшей над палисадником. – Вот и я не сплю.

Мышь снова появилась, заложила вираж и канула в темноту.

– Как хочется домой, – сказал Александр, – в этот пакостный Петербург. Клянусь, даже кабинет Нессельроде, того ещё м... ка, мне сейчас роднее южных пейзажей. Я люблю Петербург, мышь, – пылко продолжил он. – Я дитя его каналов и мостов и, сколько ни кормят меня здешними фруктами и ни греют солнцем, всю жизнь душа моя будет тянуться к дождливому, серому....

– Ты москвич, – сказала летучая мышь из темноты, и Пушкин уснул в расстроенных чувствах.

Проснулся на рассвете, со слабостью во всём теле и жутко голодный.

Никита, посланный за едой, принёс свежего хлеба с молоком и записку от Раевского «Как только проснётесь, ждем с Б. в библиотеке».

Дожевывая на ходу хлеб, Александр поплелся в библиотеку. Там уже сидели, попивая кофеёк, бодрый и свежий Раевский и с ним Семён Михайлович, по лицу которого нельзя было определить, выпался ли он.

– Сударь мой милый, – сказал Броневский, ворочая ложечкой гущу.

– Проснулись! Садитесь, – Раевский подвинул кресло. – Готовим списки нужных людей.

Пушкин сел.

Броневский вытянул ноги и вздохнул:

– Годы... Как поздно мне судьба подкинула такое интересное дело.

– Будут ещё дела, наступающее время из них одних и состоит, – пообещал Раевский (и не сдержал слова; Броневский до самой своей смерти в 1830-м году не был более привлечён к службе. Только собранные им географические и исторические данные публиковались, но это не касается нашего повествования).

– Гонца от Ипсиланти зовут Рыул.

– Как? – удивился Раевский.

– Это молдаванская фамилия, Рыул. Он штабс-капитан. Ниточка к нему куда заметнее, чем к вашему загадочному турку.

– Интересно, зачем ему понадобилось в Крым, – Пушкин поёжился от озноба, вызванного ранним пробуждением. – Неужто Зюден назначил встречу?

– Думаю, Ипсиланти сам решил что-то предпринять.

– Он вправду считает, что к нему придет из Крыма целая армия?

– Про генерала давно говорили – он глуп, – ввернул Броневский.

– Но не полный же он дурак. Или не понимает, что на деле получит горстку романтиков, которые много не навоюют?

– Это понятно нам, – сказал Раевский. – Понятно Зюдену. Но для Ипсиланти это соломинка, за которую он ухватится.

Ему нужно больше народу, а в идеальном случае – и поддержка государя.

– Занятно получается. Ипсиланти с его антиосманским движением приносит Турции столько пользы, сколько и Зюден не сумеет принести.

– Это зависит от нас.

– Mais comment²³? Как именно?

– Принесет ли Зюден пользу Турции, или мы его прежде поймаем. Семён Михалыч, – Раевский повернулся к старику. – Кто из всех, перечисленных вами людей, наиболее связан с крымскими греками?

Броневский надел пенсне и взгляделся в лист, исписанный ровным почерком Александра Николаевича.

– Аркадий Вафиядис, – сказал он. – Рыбак. Семь лет назад его привлекали к работе и сильно выручили. Можно сказать, спасли. Он грек, знает всех и вся в Юрзуфе и около него. Одна беда – любит выпить. Последний раз было о нём слышно год назад, когда передавал его сиятельству...

– Нессельроде?

– Ему, родимому. Передавал такие же перечни людей, что и вам. Ежели за последний год ничего не изменилось, вы найдёте Вафиядиса в харчевне «Русалка». Когда он перестаёт пить, становится очень смышлёным. А главное – никогда, ни в трезвом виде, ни пьяный – не болтает. Молчун, только слушает.

²³ Но как? (фр.)

Броневский легко вынимал из тренированной памяти сведения. Видно было, как редко ему приходится использовать всё, что успел он узнать за время долгой работы, и как счастлив он сейчас снова почувствовать себя в строю.

– Поедете сами, – сказал Раевский Французу. – В Юрзуфе встретитесь с остальными нашими женщинами, – он имел в виду мать и двух других сестёр. – Я останусь здесь с тем, чтобы найти какие-нибудь следы. В Феодосии должны быть тайные контакты если не у Зюдена, то у его связного.

Выезжали после полудня. Старик засиделся с Раевским-старшим за трубками; вышли, когда генерала Раевского хватилось семейство.

Броневский вышел в халате и красной курительной шапочке, похожий на турка.

В дорогу он насовал барышням фруктов и цветов, крепко обнял Николая Николаевича и подошел к Пушкину.

– Вы так и не прочитали ни одного стихотворения, – сказал он.

Пушкин удивился.

– Что же вам – прямо сейчас прочесть?

– Не нужно, я не смыслю в стихах. Но вы ведь пишете много, я слышал.

– Бывает.

– Оставьте службу, – Броневский смотрел пыльными глазами. – Она как ревнивая баба, убьет вас, потому что вы мо-

жете жить без неё.

Он снял шапочку, давно уже утратившую функциональность: волос у Семена Михайловича почти не осталось, и защищать их от табачного запаха не было нужды.

– Я подумаю над вашими словами, как только исполню долг, – ответил Пушкин. – До того я бы стал преступником, последовав вашему совету.

– Я понимаю, – Броневский затряс головой. – Я понимаю...

С Александром Раевским обменялись рукопожатиями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.